

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ПРИШВИН

✧
Корабельная чаща
Осударева дорога
✧



✧ РУССКАЯ КЛАССИКА ✧

Русская классика (АСТ)

Михаил Пришвин
**Корабельная чаща.
Осударева дорога**

«Издательство АСТ»

1954

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Пришвин М. М.

Корабельная чаща. Осударева дорога / М. М. Пришвин —
«Издательство АСТ», 1954 — (Русская классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-175128-9

Где-то далеко на Севере, где текут две реки-сестры Кода и Лода, находится заповедная Корабельная Чаща. Там все сосны ровные и высокие и стоят близко-близко друг к другу. Если срубить одно дерево, оно не упадет, а прислонится к соседнему и будет стоять как живое. Но их не уничтожают, а берегут как святыню... Лесник Василий Веселкин, раненный на фронте, узнает в госпитале о существовании Корабельной Чащи и отправляется на ее поиски... В дремучих глухих лесах Карелии живут старообрядцы-поморы. Живут своим привычным, устойчивым укладом. Но приходят люди со стороны, чтобы построить водный путь от Онежского озера до Белого моря – там, где когда-то проходила «Осударева дорога» Петра Первого, по которой волоком перетаскивали военные корабли. Михаил Пришвин видел ее незарастающий след и слышал это название во время своего путешествия по Северу. И на том самом месте, «в краю непуганых птиц», автору и пришла в голову мысль, что, если пересказать все, что произошло там за всю жизнь, получится длинная история с одноименным названием, сказка о том, что было и чего не было, – «Осударева дорога».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-175128-9

© Пришвин М. М., 1954

© Издательство АСТ, 1954

Содержание

Корабельная Чаща	7
Часть первая	7
Глава первая	7
Глава вторая	10
Глава третья	13
Глава четвертая	17
Часть вторая	22
Глава пятая	22
Глава шестая	23
Глава седьмая	26
Часть третья	29
Глава восьмая	29
Глава девятая	31
Глава десятая	35
Глава одиннадцатая	37
Часть четвертая	43
Глава двенадцатая	43
Глава тринадцатая	47
Часть пятая	52
Глава четырнадцатая	52
Глава пятнадцатая	56
Глава шестнадцатая	60
Глава семнадцатая	62
Часть шестая	66
Глава восемнадцатая	66
Глава девятнадцатая	69
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Михаил Михайлович Пришвин

Корабельная Чаша. Осударева дорога

© Пришвин М. М., наследники, 2025

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Корабельная Чаща

Повесть-сказка

Часть первая

Васина елочка

Глава первая

Солнце светит одинаково всем, и человеку, и зверю, и дереву. Но судьба одного живого существа чаще всего решается тенью, падающей на него от другого.

Так было ранней весной, горячий луч солнца все осветил и тронул даже семенную шишку на верху старой ели. На своем парашютике семя, кружась, медленно слетело вниз и упало на тающий снег. Вскоре снег разбежался водой и оставил на земле семечко.

Из этого семечка и родилось дерево – Васина елочка.

Да, конечно, солнце-то светит всем одинаково, а это от нас самих рождается тень. И мы, и животные, и деревья, и все на земле дает разную тень. И даже сама земля по временам тенью своей закрывает иную планету.

Так вот и семечко Васиной елки, конечно, упало в лесу под чью-то тень.

Было это в селе Усолье, вблизи города Переславля-Залесского, за много лет до того, как родиться самому Василию Веселкину. Даже и самого старого нашего лесника Антипыча тогда еще не было на свете. Никакой человек не был свидетелем жизни первых лет этого дерева. Родилось оно и росло само собой, и «Васиным» оно сделалось долго спустя, когда стало даже так, что не будь этого Васи на свете, так и не было бы и его елочки.

Была-жила елочка чуть ли не за сто лет до рождения Васи.

Наше семечко, подхваченное весенней водой, сплылось со множеством таких же семян и было выброшено в лесное урочище Ведерки.

В далекие времена тут был великий сосновый бор. Никто не помнит его, но так понимают его происхождение: там и тут от великого, еще более давнего прежнего леса еще оставались отдельные деревья-семенники и от старости засыхали и падали; каждое дерево, падая, разрушало возле себя много молодых новых деревьев, и оттого в сплошном тесном лесу оставалась каждый раз светлая полянка; молодые деревья, обступая полянку, тянулись вверх, догоняли кроны старых деревьев и, догнав, смыкались со всем пологом леса.

Когда деревья наверху смыкались, то лесная полянка делалась похожей на высокое ведро с зеленым донышком.

Вот оттого-то и сделалось лесное урочище Ведерки, что из каждого последнего дерева старого бора в новом лесу вышло ведерко.

Догадка эта была верная: великаны-сосны с тех незапамятных времен кое-где сохранились и до нашего времени. Тут-то вот под тенью одного такого великого дерева на вспаханную кротами земельку были брошены семена елей, и среди них было семя Васиной елочки.

Еловой породе деревьев тень вначале бывает даже нужна. Елку губит не тень высокого материнского дерева, а малая тень своих собственных мелких собратьев.

Счастливым было семечко, что оно попало в тень великой сосны: такая первая материнская тень охраняет ростки от ожогов мороза и солнца.

Это была первая материнская тень.

Как всегда, семян было множество. Васина елочка была неотличима в ровном бобрике ростков. Иному доброму человеку по такому ельничку даже рукой погладить хочется, как по шерсти его друга-собаки. Но далека, вот как далека от человека эта жизнь беспризорных существ, брошенных игрою случая или бесчеловечного закона в рыхлую, вспаханную кротами землю для беспощадной борьбы между собою за свет.

Да, конечно, солнце дает нам только свет и тепло, но откуда же среди нас берется тень?

Надо думать, солнце в тених не виновато: свет от солнца, а тень выходит ото всех нас, живущих на земле. Да ведь и сама-то земля тоже закрывает своей тенью луну...

Это, конечно, истинная правда, что солнце для всех деревьев, и всех елок, и всех зверей, и для каждого человека светит одинаково, да мы-то вот на земле все разные, и от каждого из нас на другого падает разная тень...

Не в солнце тут дело, а в самой земле, питающей семена. Не от солнца рождается тень, а от земли и от нас самих.

Мало того, что маленькие деревья затеняли друг друга. Они и просто силой своего движения теснили, уродовали свои мутовки: каждому хотелось раньше другого подвинуться к солнцу. Вот почему от каждого на каждого падала тень.

А тут вышла и еще беда: лосю вздумалось лечь и почесать себе спину об эти елочки.

Медленно после тяжелого лося поднимались помятые маленькие, но Васина елочка не успела за всеми подняться и осталась в тени.

Так, из-за того только, что лосю надо было почесать себе бок, ей это было, как верная смерть.

Случилось еще, гром ударил почему-то не в самое высокое дерево – в нашу великую сосну, пионера всего этого леса, а рядом с нею, в догонявшую ее издавна елку. После падения этого дерева от всего нашего елового бобрика осталась только Васина елочка и над ней другая, ее затеняющая, отнимала свет до темноты.

С тех пор прошло больше ста лет. За это время родился и вырос, и застарел старый наш лесник Антипыч. Вот это он-то и любил повторять всем, – и от него мы берем эти слова, что солнце светит всем одинаково, и свету солнечного хватило бы всем, да вот мы-то, земные жители, разные, закрываем друг другу солнечный свет.

– А из-за чего, – спрашивал часто Антипыч, – закрываем мы свет?

И, помучив собеседника, сам отвечал:

– Из-за того, что все поодиночке гонимся за своим счастьем.

Собеседник тогда пробовал заступиться за счастье:

– Без этого счастья жить нельзя ни человеку, ни зверю, даже и дереву.

– Нет! – говорил Антипыч. – Нельзя зверю и дереву, а человеку можно: у человека свое счастье и оно в правде.

И тут выкладывал все, из-за чего начинал спор свой о тени и свете.

– Не гонитесь, – говорил он, – как звери поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой!

Вот эти-то слова о правде, наверно, и слышал на печке совсем еще маленький Вася, и скорей всего от этих слов у него все и началось.

Однажды Антипыч пришел к великой сосне, и с ним был мальчик Вася Веселкин. Тут впервые Вася встретился со своей елочкой.

Радостно каждому глубоко вздохнуть чистым воздухом под пологом сомкнутых кронами деревьев. Редкий человек, обрадованный чистым воздухом, обратит внимание на деревце бледное, высотой не больше, как в рост человека с поднятой вверх рукой. Хвоя на этом деревце тощая, бледная, сучки покрыты сплошь лишаями. Ствол – не толще руки человека, корни поверхностные.

Сильный может легко вытащить дерево и отшвырнуть, – а между тем рядом с этим лесным сиротой стоит елка, его ровесница, могучее столетнее дерево. В тени-то этой счастливцы и хилится маленькая ее ровесница, в сто лет собравшая себе высоту в рост человека с поднятой вверх рукой.

Антипыч уже поднял было топор, чтобы прикончить эту несчастную ненужную жизнь, но Вася остановил его.

– Ладно! – согласился Антипыч.

И минуточку глядел в большие серые серьезные глаза мальчика, вроде как бы даже и с удивлением. Оно и вправду было чему подивиться в лесу: во всей жизни всех лесов на свете не было такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме человека, мог заступиться за слабого. И какой же это еще человек – Вася Веселкин, чтобы против всех лесных законов вдруг ни с того ни с сего выставить свой, человеческий!

С другой стороны, тоже подумаешь: почему бы ему тоже не выставить этот закон, если с незапамятных времен человек начал выбирать в лесу деревья, сажать их возле дома своего, поливать, навозить, ухаживать и, мало того! уходя на войну, потом уносить в душе своей наряду со своими близкими и память о родной березке возле своего дома, сосне или елочке.

Когда Антипыч заносил топор над Васиной елочкой, наверно, это наше всеобщее человеческое чувство мелькнуло в душе мальчика и перешло на дерево.

– Ладно, – ответил Антипыч, отчасти, конечно, и понимая причуду мальчишки: «все ведь и мы, старики, мальчишками были».

У Антипыча в этот раз был не просто его очередной обход лесного участка Ведерки. В лесничестве был получен приказ найти материал для авиационной фанеры. Требовалась сосна не меньше четырех обхватов толщиной и без единого сучка на высоту пяти метров. Во всех Ведерках оставалось только одно такое дерево. Вот за этим-то деревом и пришел теперь Антипыч.

Нечего было и мерить толщину; было видно на глаз – дерево больше четырех обхватов. И какие там пять метров вверх без сучка – куда больше! И смотреть было нечего.

Но Антипыч почему-то все глядел и глядел вверх, все больше и больше откидывая назад свою голову. Вася тоже за ним глядел вверх, пока не стало ему очень трудно. Тогда оба, и старый, и малый, отступили дальше от дерева и все глядели и глядели вверх. И это было без всякого дела, без всякой надобности.

Так бывает с каждым в чистом бору: движение чистых стволов вверх, к солнцу поднимает человека, и ему хочется туда вверх, как дереву, тянуться к солнцу. Голова скоро устает от высоты, приходится возвращаться на землю. Антипыч сел, свернул себе козью ножку и сказал:

– У нас в Ведерках это будет последнее дерево. Упадет – и останется на память последнее ведро в наших Ведерках. Нового больше не будет.

– А есть еще где-нибудь на свете такое? – спросил Вася.

– Есть, – ответил Антипыч. – Мой отец бурлачил на севере, так он зимой нам, детишкам, много рассказывал. Там где-то, в каком-то государстве маленьком, вроде Коми, есть заповедная Корабельная Чаша: ее там не рубят, а берегут, как святыню.

Так вот эта чаша сосновая стоит высоко на третьей горе, – и нет в ней ни одного лишнего дерева: там нигде стяга не вырубить. Вот как часты деревья: срубишь – оно не падает, а остается стоять меж других, как живое. Каждое дерево такое, что два человека будут догонять друг друга кругом, и не увидятся. Каждое дерево прямое, и стоит высоко, как свеча. А внизу белый олений мох, сухой и чистый.

– Высоко, как свеча? – повторил Вася. – И так-таки ни одного сучка до верху?

На этот вопрос постоянный шутник Антипыч ответил шуткой:

– Есть, – сказал он, – во всей гриве одно дерево, и в нем выпал сучок. Но и то в эту дырочку желтая птичка-зарянка натаскала хламу и свила себе там гнездо.

– Это сказка? – спросил Вася.

В глазах мальчика была такая тревога, так, видно, хотелось ему, чтобы Заповедная Чаша не была просто сказкой!

– Это сказка? – повторил он. Антипыч бросил шутить.

– Про птичку, – ответил он, – я сам выдумал, да и то – что я! в каждом бору есть дерево с пустым сучком, и в дырочке живет желтая птичка-зарянка. А Заповедную Чашу отец мой видел своими глазами: это правда истинная.

– Истинная, – повторил Вася, – а какая же еще бывает на свете правда?

– Кроме правды истинной? – спросил Антипыч.

И опять в лице его щеки начали собираться в гармонику, а ястребиный нос опускаться к усам. Но тут же и опять, заглянув Васе в глаза, Антипыч бросил шутить и сказал:

– Правда на свете одна, только истинная.

– А где она?

– В уме и сердце человека.

– И у тебя?

– Конечно.

– Скажи, Антипыч, какая она сама, эта истинная правда?

Антипыч засмеялся, нос его крючковатый направился к усам.

– Видишь, Вася, – сказал он, – правда, она такая, что ее надо каждому держать в уме, а сказать о ней трудно.

– Отчего же трудно?

– Первое, трудно оттого, что у правды нет слов: в делах она вся, не в словах. Второе, оттого, что как скажешь, то сам ни с чем и останешься.

– Ты мне одному только скажи!

– Скажу, – согласился Антипыч, – только не сейчас: вот буду помирать – ты к тому времени подрастешь, маленько поумнееешь, – ты ко мне подойди тогда – и я тебе на ушко скажу. Хорошо?

– Конечно, хорошо! – согласился Вася. – Только я знаю, что ты мне скажешь тогда.

– Неужто знаешь? – удивился Антипыч.

– А вот и знаю, хоть еще и не подрост, и не поумнел: ты скажешь так: не гонитесь поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой.

После Васиных слов Антипыч в изумлении остановился и, подумав, сказал:

– Ну и память у тебя, Вася!

Антипыч выплюнул свою козью ножку, поднял топор, подошел к великой сосне, зачистил на сером стволе белое местечко и на белом старательно вывел лиловым карандашом букву «А» (авиация).

Глава вторая

Когда-то ученые лесоводы думали – есть растения светолюбивые, вроде березки или сосны, и есть, как елка, тенелюбивые.

Так это и понимали: одни растения любят свет, другие какие-то любят тьму.

Ученые люди, сами не зная того, с человеческих отношений переносили мысль свою на деревья. В то время, в 18-м веке, положение господ считалось высоким положением, и один король Франции назывался даже «Король Солнце», а положение раба было низкое, но сверху казалось, будто раб любит свое низкое положение...

Лесоводы с человеческого общества перенесли это на деревья и разделили их на светолюбивые, вроде сосны и березы, и на тенелюбивые, как елка. – Когда же человеческие отноше-

ния изменились, то спала пелена с глаз и у лесоводов: оказалось – и елка любит свет не меньше деревьев-господ, но боится на свету ожогов мороза и оттого прячется в тень.

В этом сближении людей и деревьев нет ничего особенного. Стоит только распилить ствол дерева поперек, сосчитать на срезе круги годового прироста, и часто оказывается – год благоприятный для роста дерева был и у людей урожайным, а тощий для дерева был голодным и у людей: для солнца все одинаково, что деревья, что люди – у тех и других для солнца природа одна.

Другое выходит, когда люди переносят на природу такое, чего в ней нет: неравенство как высшее установление.

Вот почему скорее всего и Антипыч постоянно нам всем с детства говорил, что солнце светит для всех одинаково.

Спрашивали Антипыча:

– Откуда же тень?

Как мог верно ответить Антипыч, если даже в учебниках мало говорилось о происхождении тени. А раз нет в учебниках, то само собою приходилось слушать мудрость старых людей.

– Тень, – объяснял нам Антипыч, – берется от нас самих. Каждый из нас, – говорил он, – все равно, люди, растения или звери, дорожит светом солнца и спешит: каждому хочется перед другим скорее продвинуться к тепленькому местечку на солнышке. Вот отчего на другого от этого счастливого и падает тень: от нас самих приходит тень, а солнце всех любит ровно.

Смешные были у нас деревенские мудрецы в лесах, но и мы, школьники, были не лучше. Мы отвечали:

– А если солнце любит нас, то у него тоже должны быть любимцы: всех-то всех, а кого-то любит больше.

– Солнце всех любит ровно, – повторял Антипыч, – никого нет у него любимого, но каждый из нас думает, будто солнце любит всех ровно, и только его самого любит больше, и оттого сам лезет вперед. Вот отчего в споре за место и рождается тень.

И правда, только слепому не видно, что борьба деревьев и всяких растений в лесу бывает больше всего только за место свое к источнику света. И особенно это было заметно, когда пришли с Антипычем лесорубы к тому месту, где стояла великан-сосна.

Было это еще на нашей памяти, когда выпала из лесного полога последняя сосна, последний свидетель давно прошедших времен.

Мы слышали не раз обвалы в горах, но почему-то не так. Эти обвалы хватали за сердце, как хватает каждый раз, когда вдруг в лесу из-под руки человека валится огромное дерево.

В горах бывает гул нечеловеческий, а дерево падает – всегда понимаешь про себя: так и ты сам, человек, можешь прошуметь, потрясти все кругом и навсегда замолчать.

Много было наломано деревьев и подлеска паденьем великана, и сплошной теневой полог был продырявлен. Вот в эту дыру и бросился на лесную поляну свет прямой и великий.

Никто у нас раньше и не задумывался над тем, почему лесное урочище называлось Ведерками. А когда упала древняя сосна, то круглая поляна после нее в лесу стала очень похожа на огромное лесное ведро. И все поняли: оттого и стали Ведерки, что издавна древние сосны падали одна за другой.

Сотни лет на том месте, где стояла великая сосна, все было без перемен, но когда упала сосна, все стало быстро изменяться. Свет великий, желанный и страшный ринулся в дыру лесного полога и начал внутри леса на поляне все изменять, кому на счастье, кому на гибель.

Золотые стрелы света летели неустанно, непрерывно падали на доньшко лесного ведра, на светолюбивые травы. И мы все, у кого были на это глаза, видели, как у растений открывались глазки, подобные солнцу, с белыми, голубыми, красными и всякими лучами.

Васина елочка, столетняя и маленькая, уродливая в бледно-зеленых лишаях, открылась на весь великий солнечный свет, и по виду невозможно было понять, что такое в ней самой

происходит. Елочка эта только наводила на мысль о тех людях, нам лично знакомых, кому вдруг нечаянно доставалось незаслуженное богатство, и редко кому оно шло на пользу. Глядя на елку, все думали о человеческом счастье, но никто не мог видеть, что же происходило внутри нее самой под влиянием огромного света.

Во всем лесном районе нашего края справиться о научных вопросах можно было только у нашего учителя – Фокина Ивана Ивановича, и это он-то для нас и нашел в книгах справку о том, что дерево, внезапно выставленное на яркий свет, перестраивает свои теневыносливые клеточки на световыносливые, и от этого на некоторое время слепнет.

Так и наша елочка в борьбе за новую жизнь на какое-то время скорей всего тоже ослепла...

Не всякая елка выдерживает такую борьбу, и одно время некоторые сучки в лишаих стали так отпадать, будто лишай тут же на свету и догрызает те сучки, на которых сами сидят. А еще хуже было, что некоторые другие сучки начали желтеть, и хвоя на них осыпаться.

Так и думали Антипыч с Васей, что этой затее пришел конец, и елка должна неминуемо скоро погибнуть.

Год за годом уходили, и стало забываться когда-то замеченное деревце в Ведерках, на доньшке последнего ведра. В лесных обходах, в случайных налетах за грибами, за ягодами стали проходить мимо елки, ее не замечая.

Пришло наконец время, когда Вася Веселкин дождался пионерского галстука, и вот тут-то, на радостях, вспомнил о когда-то спасенном им деревце.

– Антипыч! – сказал он. – Давай с тобой сходим, поглядим, как наша елочка: совсем ли засохла или, может быть, поправляется. Ты как, при обходах своих не замечал?

– Нет, – ответил Антипыч, – проходить-то проходил, а в глаза чего-то не казалось: скорей всего осыпалось, оттого и не кажется. А поглядеть – отчего же не поглядеть – пойдем, мне как раз там сейчас надо оглобли достать.

Так и пошли: Антипыч с топором, Вася – в первый раз в пионерском галстуке.

И вот как это бывает иногда удивительно: думали, были уверены, что там на полянке теперь нет ничего, только пень великого дерева возле скелета столетней елочки в рост человека с поднятой вверх рукой. Когда же подошли, то еще издали увидели возле большого, как обеденный стол, пня, деревце, хотя, конечно, и не великое, но совсем свежее и зеленое.

– Гляди! – воскликнул удивленный Антипыч.

И когда совсем подошли близко, опять повторил с удивлением свое:

– Гляди!

И показал на сучки дерева: они все очистились от лишая бледно-зеленых, все покрылось темно-зелеными хвоинками, и каждая веточка кончалась резко светло-желтой, чуть-чуть с зеленою надставкой, веселой и сильной.

– Это новый прирост! – указал Антипыч.

– А что это? – спросил Вася.

– Это значит, – ответил Антипыч, – что дерево стало на свой путь.

– Какой же это у дерева путь?

– А как же, – ответил Антипыч, – у дерева путь прямой, самый прямой – к солнцу.

И показал кругом в ведре лесном на стволы прямые, и все как один напрямик от земли и к солнцу.

После того Антипыч показал и на сучья, что у каждого хлыста, как он называл стволы, – непременно множество сучьев, и каждый сук непременно кривой.

Чудак этот Антипыч! вот, сколько ни помнишь его, все говорил то ли шутками, то ли на что-то словами своими указывал... Тут он тоже взялся указать на то, что хлысты все прямые, а питающие их сучья все непременно кривые.

Могло даже быть и так, что Антипыч вздумал свой ум показать перед важным человеком: пионером в красном новеньком галстуке.

– Смекнул? – спросил он.

– Нет, – ответил удивленно и просто Вася, – я ничего не смекнул.

– Вот смекни, – сказал он. – Ты смекни это, что ствол у дерева есть прямой путь к солнцу, и он один путь, а сучьев великое множество, и они все разные, и все кривые. Ствол идет к солнцу, по правде, а сучки все по кривде. У вас там учат в школе, что это значит?

– Наверно, учат, – ответил Вася, – только мы до этого еще не дошли.

– То-то вот, – засмеялся Антипыч, – что не дошли, и должно быть не скоро дойдете!

– А ты, – спросил Вася, – ты-то дошел, ты это знаешь, почему у всякого дерева путь прямой, а сучки все кривые?

– Нет, – ответил Антипыч, – скорей всего до этого и я не дошел, мы же ведь и люди все, как кривые сучки, все говорим в одно слово: правда и правда, а когда доходим до дела, то ни у кого правды нет, все мы, как кривые сучки.

– Что ты, что ты, Антипыч! – воскликнул до крайности удивленный Вася. – Помнишь, ты мне давным-давно говорил, что знаешь правду истинную, и когда умирать будешь, то мне перешепнешь ее на ушко.

– Милый ты мой! – воскликнул Антипыч и засмеялся, и долго не мог остановиться: все смеялся и смеялся.

А Вася, не обижаясь, удивленно глядел на него, как мы глядим на что-нибудь такое диковинное в природе и спрашиваем себя постоянно, почему бывает то, а почему другое. Так и Вася серьезно спрашивает:

– Почему ты смеешься, Антипыч?

– Милый ты мой! – сказал наконец Антипыч, – Ведь это я тогда с тобою шутил.

– Ты шутил? – сказал Вася. – А скажи мне теперь, для чего ты в таком деле, в таком важном деле шутил?

Антипыч вдруг сильно смутился, как будто вдруг почувствовал над собою власть этого небольшого мальчонки в пионерском галстуке.

Ничего так и не мог ответить Антипыч на вопрос мальчика, для чего он над ним так шутил.

– Шутил! – грустно повторил Вася. – А что, если я спрошу учителя нашего Ивана Ивановича, скажет он мне, что такое есть правда истинная?

Антипыч серьезно задумался и потом ответил:

– Наверяд ли даже и Фокин тебе тут ответит: для правды у человека вернее всего, что нет слов, она вся в делах, а как слово, так это говорят взамен дела, взамен правды...

– Нет! – ответил Вася решительно и серьезно. – Ты все шутишь и теперь, я тебе не верю – есть слово и для правды, говорят же все: правда истинная. Я спрошу у Ивана Ивановича!

– Конечно, спроси, – согласился Антипыч, все еще немного смущенный, – спроси, на что же вас там и учат. А что нас, лесников, спрашивать, что мы знаем? В уме-то у каждого есть правда своя, а оглянешься кругом и нет никакой правды на свете.

Глава третья

Какие разные времена, какие разные леса, какие разные в лесах деревья, и как по-разному люди их понимают. В старину говорили так: в сосновом бору богу молиться, в березовом лесу веселиться, а в еловом – трудиться.

Елочка и Васе на это указывала: Васе досталось трудиться.

Елка – дерево собранное, она сучок подбирает к сучку, мутовку к мутовке, она, вырастая, как будто и нам всем путь свой дает, как пример.

Дерево неласковое, но растет чередом, и нашему Васе, может быть, оно с малолетства указало добиваться своего во что бы это ни стало.

Долго Вася не решался спросить своего учителя Ивана Ивановича Фокина о том, что решено было в беседе с Антипычем: спросить хорошего, умного, ученого человека о слове, отвечающем правде.

Да и как спросишь! Дома про себя кажется все так ясно, и в школу придеешь, кажется, вот только бы увидеть Ивана Ивановича – и все сразу так и слетит с языка. Но как только появится учитель, то сейчас же приходит в голову – непременно надо то все рассказать, что было перед этим, и о том надо тоже, как и с чего все взялось.

Многие ученики думали, что Иван Иванович только строг и страшно его боялись. Но немало было и таких, что усердием и способностями привлекали к себе внимание учителя и думали: конечно, он очень строг, но тоже и справедлив.

Вася был любимым учеником и совсем не боялся Ивана Ивановича в обыкновенных делах, но зато в чем-то другом боялся его больше всех.

Что это такое, Вася никак не мог бы назвать, но скорей всего, мы думаем, это выходило из признания всех, что учитель справедлив и это значит: он знает правду и поступает по правде.

Поди-ка, расскажи все в двух словах строгому и справедливому учителю! И так вот получается у Васи каждый раз, что когда надо спросить, и можно, и учитель тут рядом стоит и дожидается, все исчезает из головы, все испаряется. А чтобы не показаться явным дураком, то что-нибудь другое спросишь, значит совершь. И от этого усилия и в жар бросит, и в пот, и в краску.

После таких неудач Вася и зарок даже себе давал, чтобы не думать о таком чем-то и забыть. Но был у Васи какой-то ноготок в душе: точит и точит до тех пор, пока опять захочется спросить Ивана Ивановича это же самое: почему это у каждого правда только в уме, почему тоже – у дерева ствол такой прямой и один единственный, а пути к нему – все эти сучья, несущие соки, разные и не прямые.

Червяк точит дерево, пока жив сам и пока не источит все. И этот ноготок в уме если заведется, то уж и не останавливается, и будет точить до конца. Так пришел и этой Васиной затее конец...

Однажды в классе было очень шумно и на задних скамейках даже дрались. Казалось, весь класс был, как крона лиственного дерева в ветреный день, каждый листик, каждый гибкий сучок хотел сорваться с места, кого-то не послушаться и улететь.

И вдруг кто-то услышал шаги и крикнул:

– Идет!

В один миг в классе все стихло, и каждый, кому хотелось жить, как хочется самому только для себя, стал делать то самое, что каждому надо делать для класса.

Проходили умножение и каждый бросился решать свою задачу.

Учитель вошел. В классе была тишина не мертвая. Такая живая тишина бывает в лесу, когда зеленеют деревья и в тепле горячего света каждый час все переменяется.

Вася быстро решил трудную задачу и сидел в ожидании учителя: Фокин всех обходил поочередно, кому помогал, кого наводил на ум, на кого сердился, с кем радовался.

Вася, положив перо, сидел на парте своей, ждал и слушал. Один ученик, решая задачу, говорил громким шепотом:

– Два в уме!

Другой, прошептав «пятью семь», повторял:

– Три в уме!

Так было и «четыре в уме», и «пять в уме», и весь класс повторял все то же: в уме и в уме.

Это повторение напомнило Васе ясно вопрос о правде в уме, и когда Иван Иванович подошел и очень обрадовался отлично сделанной работе, Вася вдруг осмелился и решительно произнес:

– Иван Иванович!

Он хотел спросить: «Говорят, что правда живет только в уме человека, – и так же, как число в умножении, а что самой правды вовсе и нет на свете. Или, может быть, она есть, и живет между нас невидимая правда истинная?»

Вася по годам своим, конечно, не мог бы уложить в слова свои смутный вопрос, как мы теперь его укладываем, но мы знаем это верно тоже и по себе, что такой был – вопрос в Васиной голове, и если бы вышел вопрос, то как бы Фокин обрадовался!

Но случилось, когда Вася назвал учителя по имени и хотел спросить о правде, Иван Иванович что-то заметил в классе и положил руку на плечо Васе:

– погоди! – сказал он.

Так делают учителя в классе: там надо остановить, здесь – переждать.

И пристыдив того нехорошего мальчика, кто хотел списать задачу у другого, вернулся Иван Иванович к Васе и спросил:

– Ну, Вася, что-то ты хотел спросить?

– Иван Иванович! – начал было Вася.

И вдруг весь покраснел и сказать не мог ничего. Учитель погладил его по голове:

– Ты, – сказал он, – ведь о чем-то большом хочешь спросить?

– Ага! – ответил Вася.

– Приходи ко мне после обеда, поговорим! – серьезно сказал Фокин.

И Вася успокоился.

После обеда у Ивана Ивановича был счастливейший час, когда он жил для себя. Конечно, дело свое он любил, и все в деле у него шло хорошо, но это все было для будущего, когда еще дети вырастут, когда еще будущие граждане помянут его добром: его самого тогда может быть и не будет на свете. А так, чтобы вот сейчас, и не для кого-нибудь, и не то делать, что надо, а что самому лично хочется для себя – такого счастья был какой-нибудь только час в рабочем дне деревенского учителя. В этот час он отдыхал и не очень-то думал о будущих гражданах.

В этот час учитель ложился на кушетку и над головой у себя нащупав кнопку, пускал в ход свой приемник.

Счастье это было в том, что весь-то приемник был делом рук самого Ивана Ивановича. Ветряк на крыше был сделан своими руками, динамку от старого автомобиля подарил ему знакомый шофер, и учитель сам выточил для нее новый якорь. Старенький аккумулятор он перебрал тоже сам.

Так с крыши в комнату пришло электричество. А сам ламповый приемник частями переходил из рук любителей. И когда такой самодельный аппарат стал передавать все, что делается на свете, то как тут понять, от чего именно пришел счастливый час: оттого ли что получает каждый техник, входя в стихию изобретательного творчества, или же от соприкосновения своей собственной души с движением дня всего мира, отчего каждый из нас чувствует себя современным.

Скорей всего Фокину хорошо стало оттого, что он по себе и в том и другом увидел величие понятой им силы физики.

Когда в такой час Вася пришел и остановился в дверях, Иван Иванович поманил его пальцем к себе и усадил на кушетке.

– Помолчим! – сказал он.

Передавали рассказ Чехова о том, как фельдшер ключом дергал неудачно кому-то зуб.

Очень смеялись и учитель, и Вася, но ученик не забывался и свой вопрос держал крепко в уме.

После Чехова Фокин закрыл приемник и спросил:

– Ты, Вася, мне что-то хотел сказать в классе, трудно там при всех о чем-то таком своим спрашивать; давай с тобой потихоньку обсудим, а потом, может быть, полезно будет наш разговор вынести в класс. Ничего ты со мной не бойся, не церемонься, через какие-нибудь десять лет ты, может быть, сам будешь учителем.

Васю Фокин очень любил.

Конечно, был грех у Васи с этим вопросом о правде. Он уже стал привыкать к тому, что учитель отличает его, и сейчас с этим вопросом втайне его не так правда к себе тянула, как чтобы удивить Ивана Ивановича. Вот, скорее всего, отчего он так и волновался.

Но теперь, при спокойных ласковых словах учителя, все напускное прошло, и Вася собиравшись учителя по всей правде спросить.

И это мы поймем: сама задушевная правда умным котеночком глядела из детской души, как глядит на лесной полянке цветочек.

– Хочется мне знать, Иван Иванович, – сказал Вася совсем спокойно, – верно ли это, что правда на свете одна для всех: правда истинная?

– Это бесспорно! – ответил учитель.

– И Антипыч тоже мне говорил, что правда на свете должна быть одна, а когда я пристал к нему и просил показать правду, он ответил, что правда у каждого человека своя, и сколько ни есть на свете людей, столько есть и разных правд.

Хорошие, хорошие, чуткие люди бывают среди деревенских учителей. Мальчик что-то о правде спросил – и нужно же так обрадоваться!

Иван Иванович вскочил с кушетки и быстро зашагал по комнате взад и вперед. Шагал и думал о правде, думал и думал, а о Васе как-будто совсем и забыл. О чем он думал?

Он думал о Виссарионе Белинском, соединявшем в свое время в себе пути русской правды. Личность этого человека была ему воплощением правды. Но Вася ничего не знал о Белинском, этим Васе ничего не скажешь.

Вдруг Фокин перестал шагать и спросил:

– Скажи, Вася, как это было у тебя, с чего у тебя начался этот вопрос, потрудись хорошенько, припомни.

– Мне трудиться нечего, – сказал Вася, – началось это давно, я еще и в школе не был. Антипыч указал мне на елочку в лесу маленькую, в рост человека, и сказал: «Этой елочке больше ста лет, и она не растет оттого, что ее затеняет другая. Солнце светит, – сказал Антипыч, – для всех одинаково, да мы-то все разные: каждому хочется стать поближе к тепленькому местечку на свете. Солнце любит всех, но каждый думает – его оно любит больше, и оттого рождается тень».

– Молодец твой Антипыч! – не удержался Фокин, – Но как же все-таки вы добрались с ним до разговора о правде?

– Так и добрались мало-помалу. Эту елочку мы освободили от тени, и она стала у нас поправляться. Как-то раз и вышел у нас разговор о том, почему это ствол у дерева прямой, а сучья неправильные.

Тут Антипыч и указал мне на правду человеческую, что истинная правда – она тоже одна и прямая, а у нас в уме у каждого свое, и сколько на свете людей, столько в мире и правд, и что это у людей с правдой, как у деревьев с солнцем: каждому хочется стать к свету поближе, и оттого у деревьев тень, а у нас неправда.

Мы с Антипычем давно в лесу говорим, и я его спрашиваю: «Как это, сам говоришь, правда одна, правда истинная, а в уме у человека правда своя. Как это может быть?»

– Вы-то знаете, Иван Иванович?

– Знаю! – ответил Иван Иванович. – Но честно скажу, сразу ответить тебе не могу. Давай, вместе подумаем.

Так они и сидели на кушетке рядом, ученик с учителем, и оба думали о правде: Вася думал о хитром Антипыче, а Фокин о Белинском. Ясно была Фокину видна правда Белинского – вот как ясно! и в то же время сказать о ней мальчику было нельзя – слова такого не находилось.

– Нет! – сказал наконец учитель. – Слово на правде как-то не держится.

– Это и Антипыч, – ответил Вася, – тоже говорил вроде этого: что у правды слов нет.

– Правда, Вася, не в словах, а в делах. Одна правда на свете: правда истинная, а делают ее все по-разному и по-своему. Мне нравится, как вы с Антипычем выбрали себе примером дерево: оно ведь тоже живое, значит, и в нем есть правда жизни.

Мне нравится ваш прямой путь к солнцу, и что сучья, подводящие от листьев соки к стволу, все разные, и что ни один сучок, ни один листик не складываются – все разные, а все по-своему служат солнцу. Но я чувствую – есть какое-то слово о правде между нами, людьми, слово наше собственное, близкое всем нам.

Было ли это на время у Васи, что ему показалось, будто он через Ивана Ивановича смысл правды нашел, или такая добрая беседа сама ему представилась правдой, только ему было довольно этого: все служат правде истинной по-разному.

– Правда истинная, – сказал он, – ведь, конечно, много выше солнца?

– Истинная правда, – ответил Фокин, – обнимает Вселенную и еще дальше, все что там за Вселенной, и без конца. И в то же время она тут с нами сейчас на кушетке.

И опять Вася почувствовал так, будто правда сейчас тут с ними на той же кушетке сидит.

– Спасибо, Иван Иванович, вы мне на все ответили, и я об этом скажу Антипычу. Скажу так: Иван Иванович тоже так думает, как и мы, что правда прямая, как ствол дерева, а все служат правде по-своему.

После ухода Васи учитель не стал заводить приемника.

Это кому-нибудь со стороны, может быть, и покажется, будто учитель после ухода своего ученика, просто ходил, размышляя, из угла в угол. На самом же деле Иван Иванович не ходил, а летал из одной земли в другую в поисках такого слова, чтобы оно вполне совмещалось бы с делом и было бы словом истинной правды.

Летал Иван Иванович и в наших столетиях, и в далеких от нас временах. Смутно ему чудилось – скорее всего слово правды надо бы ему искать у Белинского.

И вот он подходит к своему шкафу, переносит книги на стол, пересматривает, перелистывает...

– Нет! – говорит он вслух. – Кажется, это встречалось у Чернышевского.

Ближе всех, казалось учителю, к правде подошел Ленин, и правда его, как особая материя, осязаемая сердцем русского человека, соединяла между собой поколения. У тех старых народов больше великие памятники прошлого, а у нас правда.

Так и полуночные петухи прокричали. Иван Иванович много стран облетел, много книг перебрал и до конца не дошел: правду нашу он понимал и знал, как свою физику, но слова к ней не нашел. И так после всего остался вопрос: «Неужели же правда остается только в одних делах и не может быть слова у правды?»

Глава четвертая

Как ни теснятся деревья, но всегда, если захочется, найдешь себе светлое пятнышко, и с ним приходит надежда на скорый выход из темного, нудного в походе елового долгомошника.

Так идешь, идешь, высматриваешь себе светлое пятнышко и надеешься на скорый выход из леса. Но большею частью это бывает не выход на свет, а сквозь деревья просто небо показывается.

Сколько-то времени идешь без надежды и учишься поневоле понимать глубоко природу северного дерева елки. Это дерево может чахнуть в тени под пологом затеняющих его деревьев целое столетие и при первом соприкосновении со светом раскрыться во всю свою затаенную мощь.

Бывает часто, над чем работаешь всю жизнь, на то и сам мало-помалу становишься немного похож.

Так, может быть, и древний наш славянин, как елка под пологом, жил много лет, вырубаясь к свету из леса, и каждое пятнышко света принимал за свет, надеялся, и терял надежду, и все вырубался, и вырубался.

И когда вырубился, то и сам победитель чем-то стал похож на дерево, никогда не теряющее надежду когда-нибудь выйти на свет.

Нам за то, может быть, и приглянулось Васиное дерево, что захотелось ближе самого Васю понять.

До сих пор, если сверху посмотреть на северные леса, то кажется лес сплошным от самой Москвы и до северных морей. Там и тут мелькнет среди лесного массива светлое пятнышко, и это пятнышко с полями и есть все счастье человека в северном лесу, и это счастье он себе, вырубаясь, создал своим топором.

Вокруг такого светлого пятна полей узенькой пилой по небу глядит северный лес на дела человека. Северный человек по себе понимал природу леса, своего врага, он грозил ему топором, повторяя с древних времен: «Лес – это бес!»

А лес тоже стоял и, напряженно прищурясь, ждал случая покрыть собой эти вспаханные и удобренные для себя человеком поля.

Чуть война – и мужское население уходит из сел, лес сейчас же приходит в движение. На опушке у него для этого всегда стоит готовая стража. Лес движется по земле опушками: тут стоят его воины – семенные деревья, и ветер с них бросает на человеческие поля семена.

Чуть война затянулась – и в бороздах, и в кротовых кучах уже зеленеют березки, а под березками в тени их, спасаясь от заморозков, переходят елочки, и так лес, собирая силу из множества, идет по земле и часто не оставляет никакого следа от прежней борьбы с ним человека.

Вот она где и таится разгадка и ответ людям, упрекающим северного человека за то, что он редко сажает дерево возле своей хаты. Не дожил он еще до того, не срубил еще далеко свой лес, чтобы ему захотелось сажать у себя возле дома деревья.

Так оно выходит как бы какой-то закон по всей земле: чтобы дикий лес у себя извести, а потом сажать вновь и любить отдельное дерево.

Для чего так делают на всем свете: изведут – и опять все сначала?

Мы так делать не будем!

Конечно, и у нас в Усолье эта дикая повадка в борьбе с лесом человека оставалась в полной сохранности: мало ухаживали за лесом, и всякий тащил себе оттуда на еду ягоды и грибы, на топливо – дрова, на стройку – деревья. Обходиться с деревьями, с каждым отдельно, как с человеком, сажать, удобрять, поливать – это первый завел у нас учитель Фокин Иван Иванович.

Это он первый вздумал весь большой школьный участок засадить двойным рядом лип, и что самое главное: он заставлял самих своих учеников находить в лесу эти липы в десятилетнем возрасте, выкапывать их, переносить, рыть ямы, удобрять, сажать, поливать.

И каждое посаженное кем-нибудь дерево непременно сохраняло в себе особенности того, кто его сажал. Иногда казалось, будто человек не дерево посадил, а сам себя на стороне увидел, и что хорошо особенно: с хорошей стороны себя самого увидал!

Так говорил у нас в Усолье учитель Фокин.

– Не будь этой посадки лип, может быть, и Вася Веселкин забыл бы в лесу свою елочку вместе с детской правдой своей? Скорей всего так бы и забыл, а когда потом хватился – так и не нашел бы в лесу, может быть, и того ведерка, где стояла сосна-великан, и в ее фильтрованном свете стояла, глубокой тенью угнетавшая его елочку, сытая и довольная елка.

Тоже, может быть, и так совершается переход от леса дикого к лесу саженому в сознании самого человека: человек, посадивший дерево, начинает, как всякий, ценить свой собственный труд и через это ценить и любить самое дерево?

– А от своего трудового дерева перекинется к дикому и задумается над тем, что и дикие леса, даровые, тоже надо хранить.

Так было и с Васей, он вспомнил, сколько борьбы с Антипычем он перенес, чтобы заставить лесорубов срубить угнетавшую его деревце большую сытую елку.

В то время Антипыч еще был жив, они вместе с ним пришли к лесному ведерку, где сейчас мох зеленый, кукушкин лен, травы, цветы, грибы хоронили пень великого дерева – последнего пионера и могикана в Ведерках.

Васина елочка на первый взгляд была все еще угнетенным деревом, ничем не отличная во всем множестве угнетенных деревьев, составляющих особый лес в лесу, называемый подлеском. Но для опытного глаза старого лесника Антипыча много было изменений. Много и знать было надо о жизни елки, чтобы понять эти изменения.

Дерево лиственное то ли не успевает за короткое время жизни своих листьев выработать себе форму: лиственное дерево бесформенное, как нечесаная голова, а у елки веточка к веточке прибирается, и ветви все вместе образуют нам хорошо известную форму.

Почему-то ночью в закрытых глазах нам представляется, будто все елки в лесу держат единую правильную форму. Но когда пойдешь в лес с топором, чтобы к Новому Году найти себе елочку, то правильную не скоро найдешь, а если и попадется такая, то все-таки и у правильной надо бывает что-то подправить.

Тогда ясно становится, что родилась-то елка в лесу, – неправильной формы, но человек понял ее форму как стремление к свету и на этом пути все поправляет и направляет.

Шли годы, и елочка, перестроив на свету свои клеточки, изменяла из года в год форму своих ветвей. А Вася, конечно, как и всякий человек, глядел на нее и ожидал от нее свершения правильной формы.

Комсомольцем он после нескольких лет застал свою елочку однажды, когда она большинство своих ветвей начала поднимать вверх, как руки. Это было оттого, что каждая, более нижняя ветка старалась выйти из-под тени более верхней. И обогнав ее, нижняя ветка поднималась, – загибалась вверх к свету, как поднимается каждый сук, выходящий из тени на свет.

От этого каждый сук выходил рогом, снизу более длинным, кверху все более коротким.

Прошло время, Вася кончил семилетку, елка была не очень велика в высоту, но неузнаваемо расширилась снизу. Только самые нижние ветви почему-то не поднимались, как все, а оставались внизу.

После школы Вася стал лесником на место умершего Антипыча и во время ежедневных обходов встречался со своей елочкой и, каждый день глядя на нее, изменения перестал замечать.

Так он женился, и с молодой женой Лизой был тут, рассказывал ей о великой сосне, показывал пень, больше и больше зарастающий цветами. И тут он, показывая жене на свое дерево, вдруг заметил всю огромную перемену.

Когда Лиза, не знаяшая прошлого елочки, стала любоваться деревом, каким оно стало, Вася вдруг начал понимать, почему елка его растет, и очень быстро и правильно.

Заметил он что-нибудь? Нет! он в первую минуту ничего не заметил, отчего так стало. Но так и со всеми бывает: сначала представится что-нибудь через перемену, а потом начинаешь и сам разбираться, отчего так представилось.

Теперь не хилая елка стояла, а красавица во всем своем счастливом дыхании...

Но отчего она такая была, какая перемена случилась, что она такая, Вася не знал.

– Только почему же нижние ветви ее не поднимаются? – спросила Лиза.

И Вася не мог ничего ей на это сказать.

После того опять каждый день в лесном обходе он встречался со своей елочкой и не обращал на нее особенного внимания.

Потом, когда первый раз пришли с ним в лесное ведерко его детишки – Митраша и Настя, он опять обратил внимание, до чего правильно и роскошно на великом свету образуется его прежняя елочка.

Митраша, как и мать его, Лиза, сразу обратил внимание на нижние ветки, лежащие на земле. С того он и начал знакомство с елкой, что стал поднимать ветку. А когда поднял, то увидел, что она пустила свои корешки и держится за землю. Он дернул ветку с силой и оторвал. Эта ветка у него стала дверцей для входа в шатер.

Он вошел туда, в шатер, позвал Настю и дома ответил своей матери, для чего нижние ветви держались за землю и не поднимались к свету: для того, чтобы они с Настей могли в своем любимом шатре складывать грибы, ягоды, спастись от внезапного дождя или просто сидеть.

– Как грибы под елкой? – спросила мать.

А Митраша отчего-то обиделся и ответил:

– Грибы не просто под елкой сидят...

– А зачем же они там сидят? – спросила мать.

– Они там растут, – ответил, насупившись, Митраша.

– Ну что ж, растите и вы, детки! – ответила Лиза и отчего-то тревожно вздохнула.

Детям было – Митраше девять, а Насте одиннадцать, когда началась война, и отец их Василий Веселкин ушел...

Сказать, чтобы перед уходом лесник нарочно пришел к своей елочке проститься – это нельзя так сказать: наши люди таких чувств стыдятся и их не показывают... Так тоже нельзя сказать ни о ком, чтобы память о любимой, свободно растущей на круче сосне, или о веселой березке возле родной хаты, или о елочке, вроде Васиной, оставалась в душе и на памяти...

Скорее всего она оставалась как заступница родины, но сказывалась только в крайней беде.

Так было и с Василием. Он просто в раздумье перед уходом зашел на ту поляну, где стояла елка. Тут первое, что он увидел, это что пень великой сосны весь скрылся во мху и цветах. Тут ему вспомнилось, что когда хоронили Антипыча, то родные и в гроб ему положили цветов полевых и на могиле тоже посадили цветы.

Посмотрев на убранный цветами пень великой сосны, Василий подумал: «Вот оно откуда взялось у людей убирать цветами покойников».

И тут же, взглянув на елку, он навсегда потерял свою мысль о том, что природа могилы своих покойников убирает цветами и что люди это взяли себе у природы.

Он увидел на своей елке, что каждый сук, рогом выходящий из тени вышележащего сука, держал и как бы торжественно поднимал на себе нескольких маленьких шишек кровавого цвета.

Сколько времени, сколько незаметного труда было истрачено у этой елки на образование ее правильной формы – и вот пришел конец: всякий изгиб любого сука находил себе оправдание и награду: он держал на себе знамя будущей жизни – маленькую шишку кровавого цвета.

С других веток на эти красные шишки летела великой массой золотая пыльца. У елки наступила брачная пора: ее семенные годы.

Василий, конечно, не мог бы сказать, как мы сейчас после всего говорим, что новая законченная форма елки была охватом бурных стремлений, направляемых к свету. Все это движение заканчивалось верхней мутовкой с единственным верхним указующим пальцем на солнце.

Так было, что сломись этот пальчик – и все сочетание миллионов сучков и хвоинок теряло бы смысл.

Сказать, чтобы Василий Веселкин так-таки все и думал на войне о своей елке в шишках кровавого цвета, осыпаемых золотой пылью, – нет! он никогда об этом не думал. Но случилось однажды, когда война уже решалась в пользу нас, сержант Веселкин вышел из окопа и приказал части своей подниматься в атаку.

Казалось, все было вокруг обыкновенно и просто, но, – вдруг свет, великий свет больше солнца, может быть, свет самой истинной правды просиял перед ним, и он открытыми глазами мог смотреть на него! Он видел на поле елочку правильной формы, и каждый сук, каждая ветка на ней выносила из тени на свет знамя будущего, сложенное в шишечку кровавого цвета, и на шишечку со всех сторон летела золотая пыльца.

Так было человеку, так ему и бывает порой, а люди видели самое обыкновенное, то, что видят они каждый день на войне: сержант Веселкин упал.

Часть вторая Круглые сироты

Глава пятая

С тех пор как пришла похоронная о сержанте Веселкине, убитом где-то на западе, жена его Елизавета каждый вечер, уложив детей, уходила в лес, и всю ночь, если очень прислушаться, долетал до села ее надрывный стон. Раньше, в прежние войны мужики очень боялись этого бабьего стона, слабый на сердце человек не мог выносить его и отводил душу по-своему как-нибудь, больше, конечно, в вине.

В этом женском вопле каждый у нас из войны в войну, от пожара к пожару является наследником переходящего из поколения в поколение чувства сиротства.

Казалось иногда, мы, русские люди, не живем, а какими-то круглыми сиротами переходим из одного времени в другое, новое, а там тоже война и опять переходим куда-то.

Но это, конечно, не всякому так именно складывается русская история. Можно думать даже, что это время сиротства кончается и новый человек входит в историю с чувством беззаветной любви к своей матери-земле и с великим пониманием отца своего.

И мало того! нам, участникам эпохи сиротства, кажется, что прежний круглый сирота несет с собою какую-то новую правду для всего мира.

И нет! конечно, не всякий мужчина отвечает на женский стон непременно вином. Иной человек от этого стона погружался в глубокое молчание и собирался с духом, чтобы когда-нибудь с этим всем злом разом покончить и начать какую-то новую жизнь.

Да, так собиралась гроза революции, гроза кругом на весь мир.

Утром дети Веселкины уходили к матери в лес, к тому самому месту, где клюква, брусника, черника, папоротники, горошки, незабудки, гвоздички и всякие всевозможные цветы хоронили навсегда пень великой сосны и тут же мало-помалу расцветала Васина елочка.

Тут на широком ложе соснового пня, на его цветах дети находили в беспамятстве свою мать и начинали реветь. И мать, слушая детский плач, приходила в себя, поднималась...

Так и пришел этот страшный час для сирот, когда мать их и не поднялась.

Тогда, первые дни, кто бы ни встречал детей, каждый старался выразить им свое сочувствие и со слезами в глазах говорил:

– Круглые сироты!

Попробуйте весной ударьте в березу ножом – сок польется из дерева белый, потом рана делается красной: сок перестанет литься, но рана, след ее, останется навсегда. Так и с нашими детьми было, как с березой, только что на березе рану всем видно, а люди привыкают свои душевные раны таить: каждый таит, а все вместе, конечно, к чему-то выходят. Наши дети с виду скоро поправились и всех удивляли своим недетским мужеством.

Все мы видели, как не без помощи, конечно, добрых людей дети справились с хозяйством и стали жить между нами в селе настоящими большими хозяевами: Митраша, как маленький настойчивый и упрямый мужичок, Настя, годом старше его, вела себя, как женщина совсем взрослая, умница.

У всех на глазах так это удивительно случилось, что Митраша случайно из большого отцовского ружья убил страшного вредителя деревенских стад – известного волка, прозванного Серым помещиком. Всем тоже пришлось по нраву, что когда из колонии ленинградских детей пришли в село за помощью сиротам, то Настя отдала им весь свой годовой запас весенней сладкой клюквы, целебной ягоды, собранной ею самой в болотах. Да, пожалуй, этот посту-

пок девочки нашим людям еще больше пришелся по душе, чем геройская расправа мальчика с Серым помещиком.

В этом общем сочувствии Насте сказывалось, может быть, то самое сиротство, скопляемое из войны в войну, из поколения в поколение. Ленинградские дети были у всех на глазах, рассказы о каждом ребенке переходили из села в село и, случалось, так трогали сердца простых людей, что бездетные брали сирот, и эти сироты находили себе отцов и матерей.

Так можно сказать, что в какой-то мере в это время сироты Митраша и Настя вели и оказывали всю тайную сердечную жизнь нашего села.

Было однажды, в первые дни самой ранней весны, Митраша с Настей вышли на солнечную опушку. Тут они, хотели вместе подумать, не пора ли собираться в болота за вытаивающей из-под снега самой сладкой весенней и полезной от всех болезней клюквой.

Само собой так сложилось, что дети пришли и сели на пни у той самой опушки, у той самой полосы колхозных полей, где корчевал перед самой войной пни их отец, и вся семья – и жена и дети – ему помогала. Работа была трудная: отец и мать выкапывали пни, а ямы от пней на поле заделывали дети. Приказ от старших был детям такой, чтобы нижнюю землю, бесплодный песок укладывать в яму на низ, а наверх чтобы приходилась темная хорошая земля из-под леса. Теперь, за годы войны, лес успел собраться с силами и повел сдое наступление на дела человека. На каждой разделанной ямке, разрыхленной, удобренной, трехлетняя березка маленькая под тенью своей выводила совсем крошечную малютку-елочку.

Через дело отцовское, через труд его и через ужасное горе Митраша, как сильный мужичок, вник в самую жизнь этих маленьких деревьев, самовольно выросших на месте труда человека и, преодолев горе, обрадовался одной своей догадке. Он так ей обрадовался, что захотел сию же минуту об этом Насте сказать, и сказал, не оглядываясь на нее:

– Настя, а деревья-то ведь тоже ходят!

Это и была его догадка, что деревья живые и тоже, как люди, могут ходить по полям.

Мало того! Разве это не удивительно, что и по всему полю там и тут деревца вышли на простор полей, как маленькие люди.

– Настя! – даже немного и рассердился Митраша. – Чего же ты молчишь? Ты погляди только, ведь под каждой березкой на поле укрывается елочка. Деревья, как люди, выходят из леса и расходятся полями.

Настя, однако, молчала. Когда же Митраша на нее оглянулся, то лицо ее было все облитое слезами, и сквозь слезы блестели большие карие и чуть-чуть с раскосом глаза. Митраша сильно испугался этого лица Настина, отвернулся и долго молчал и, дергаясь изредка плечами, все так сидел и сидел.

Тут весенний первый дождик пошел, и он под дождиком на своем пне мокрым кобчиком, все не оглядываясь, сидел и сидел. Но дождик все шел, и Митраша не оглядываясь наконец сказал:

– Настя, ты не плачь, отец наш, может, еще и жив.

Настя же давно поняла, почему Митраша сидит молча так долго, не оглядываясь, почему плечи его дергаются время от времени, собралась с духом и на слова Митрашины, сказанные ей в утешение, ответила:

– А ты это верно, Митраша, сказал, деревья тоже по нашим полям ходят, как люди.

Глава шестая

Не у нас одних, в Усолье, это было, – а тоже на торфоразработках в Купани пришел домой схороненный и оплаканный Михаил Новоселов. За озером в Хмельниках было двое, об одном бумага пришла, что убит, о другом, как о без вести пропавшем, – тоже оба пришли. За лесами же Бармазовскими в селе Половецком был и такой случай, что жена успела и похоронить, и

устроиться по-новому с другим, с новым мужем, и только устроилась, откуда ни возьмись, приходит старый муж.

Тоже бывало и так, что никакого нового мужа не было, а просто женщина мысль эту о муже потеряла, схоронила ее, стала на свои ноги, полюбила свою независимость, а тут-то вот и появляется муж!

Все было. Если взять посчитать, сколько такого случалось во всем-то большом Переславском районе, так и задумаешься и спросишь себя, отчего же раньше-то в прежних войнах бывало такое редко до крайности, а в этой войне сколько-то случаев на то или другое место было, как правило.

Мы опять скажем об этом: а ведь раньше и войн таких не бывало, чтобы кругом со всего земного шара люди сходились убивать друг друга такими массами. Раньше был твердый счет человеку; все, конечно, были как все, – но и каждый в отдельности тоже не забывался. Теперь же в таком массовом деле сплошь да рядом выходили ошибки.

Так было, когда Митраша и Настя вернулись домой из леса, возле избы у них на завалинке в ожидании их сидела почтальонша и с ней двое наших любопытных. И уж, конечно, эти любопытные держали в уме догадку о хороших вестях для наших сирот.

Письмо было трудное для чтения. Василий Веселкин писал его левой рукой и с этого и начал писать, что правую руку ему хотели отнять, да он не дал: рука висит, и он учится писать левой рукой. Это было понятно написано, а дальше приходилось по отдельным словам только догадываться. Все складывалось в письме к такому смыслу, что после первого большого ранения, когда все думали, что он убит, он не скоро поправился и в это время посылал письма. Этих-то писем дома и не получали, и оттого вся беда и вышла: получили только похоронную. Во второй раз он был ранен в руку на севере, и, как поправится, то его больше в строй не возьмут, а как лесника назначат искать в северных лесах материал для фанеры на самолеты. За весну и за лето он надеется работу свою закончить, и его совсем отпустят домой, все равно: кончится война или затянется.

Пока это письмо разбирали, народу собралось возле хаты Веселкиных множество, и всем хотелось помочь написать сейчас же Веселкину ответ.

Так случается в жизни: людям даже и в такое ужасное время, какого и никогда на свете не бывало, приходит радость. Такая была это радость, что дети сидели на завалинке с горящими щеками, с блестящими глазами: у Насти блестели глаза карие, чуть-чуть с искосом, как у монголов, у Митраши серые большие глаза были точь-в-точь как у отца...

Дети сидели и радовались, а вокруг них народ все прибывал, пока наконец не решили, что писать ответ надо немедленно, и о чем писать, надо детям помочь. С этим решением писать сейчас же ответ все ввалились в избу.

Митраша достал лист писчей бумаги, Настя что-то мешала в чернильнице, все стояли вокруг стола. И только бы вот начать вместе сочинять и диктовать хором маленькому Митраше, вдруг догадливый бондарь Скворешников Леня носик острый свой просунул между плечами чужими к столу и так говорит:

– Писать, писать, а куда же мы посылать будем?

Ему конечно ответили:

– Писать по адресу.

Стали искать адрес, а в письме об этом ничего не было. Вертели, вертели, да так понемногу бросили, и человек по человеку стали выходить.

Так вот люди все ушли, да и радость тоже с ними ушла из избы. Что-то смешалось в душах детей, и радость о том, что отец жив, и печаль, что правая рука у него висит, и тревога о том, что нет адреса и что ждать надо до осени, а придет осень, опять что-нибудь выйдет плохое... Так, измученные за день и счастьем и горем, дети в этот раз, не зажигая огня, улеглись было спать.

И, конечно, дети и тут оставались детьми: как легли, так и заснули.

Еще не было очень поздно, сосед бондарь Скворешников Леня стругал своим ладилом дощечки для бочки и пел. Вскоре взялся петь и сверчок.

Вдруг Митраша как вскочит с постели, как закричит:

– Настя, Настя, скорей просыпайся, скорей вставай.

Настя села на постельке заспанная, но быстро, умница, собралась.

– Что с тобой, Митраша?

– Настя! – сказал Митраша твердым и решительным голосом. – Я пойду на север искать отца. Его, больного, нельзя так оставить. Ты пойдешь со мной или тут останешься?

– А куда же мы пойдем, Митраша, ведь у нас нет его адреса?

– Об этом мы будем говорить у Фокина Ивана Ивановича. А ты мне сейчас говори ясно и твердо и навсегда: пойдешь ты со мной искать отца?

– А куда мы пойдем? – повторила Настя.

Митраше не терпелось, и он резко сказал:

– Пойдем, Настя, отца искать, об этом я тебя спрашиваю, пойдем, куда глаза глядят.

Понимаешь меня?

Настя и правда только сейчас спросонья совсем очнулась и сразу все поняла и ответила:

– Поняла, Митраша, я тебя поняла только сейчас. Куда же я тебя одного от себя пущу – конечно, пойдем.

– Куда же пойдем? – спросил Митраша.

Настя улыбнулась и ответила:

– Куда глаза глядят.

И Митраша успокоился: Настя его поняла. Тогда Митраша встал и сел на кровать рядом с сестрой.

– Сейчас еще время не поздно, вставай, одевайся и пойдем к Фокину Ивану Ивановичу. У меня есть план: все, все ему сказать, всю правду истинную, и он, как отец наш, он станет за нас и даст верный совет и все сделает нам.

– Как же сказать ему правду истинную? – спросила Настя.

– Так просто и скажем: умрем, а отца найдем.

– Да, это правда, – ответила Настя, – мы отца своего найдем.

Так под горячую руку Митраша нашего дорогого учителя Фокина Ивана Ивановича назвал отцом и ему, как отцу, захотел тут же ночью сказать, открыть всю свою сиротскую правду истинную.

Так широка, велика, так огромна и как часто пустынна бывает наша дорога к отцу! Но каждый из нас знает, – за каждым кустиком, из каждого овражка во все глаза на нас кто-то глядит.

Кто это?

Еще маленький человек, Митраша это уже знал, уже понимал, кто это, но слова этой великой правды не знал.

И к этому ли отцу он звал свою Настю.

Тоже, и Настя, конечно, это знала.

И дети к своему учителю сейчас вместе пошли, как к отцу.

Подумаешь о прошлом нашем, что из войны в войну отцы от нас уходили и умирали, но правда-то наша, та самая, что только такому человеку, как отец, ее можно открыть – эта правда с нами, с сиротами, так и остается, так и ждет, чтобы открыться самому хорошему для нас человеку.

Глава седьмая

Старые учителя деревенские у нас очень долго оставались на своих местах и были такие, что даже и до конца своего оставались в той же школе.

Таким учителем был у нас Фокин. Липы, посаженные десятилетними четверть века тому назад, были свидетелями учительской жизни Ивана Ивановича. Все теперь, кто бы ни приехал, любовались летом тенистыми аллеями вокруг всего школьного участка. Зимой же, если окна не были совсем заморожены, еще удивительней были разросшиеся за четверть века лимоны и фикусы. В каждом классе было большое дерево до потолка, и дети с того начинали свои занятия, что тряпочками протирали пыль с каждого листа своего фикуса. Из окна же зимой, если снаружи посмотреть, удивительно казалось, что вокруг везде белый снег и трескучий мороз, а в классе дети сидят, как в раю, под своим классным фикусом или рододендронам.

В каждом городе нашей области и в самом Ярославле в начальниках были ученики Ивана Ивановича, но люди как люди – и особенно хорошие люди, уходят в свои дела и в них затаиваются. А деревья вокруг школы и в классах все-таки собой показывают и рассказывают о человеке.

Большое это было дело, и много лет надо было, чтобы вырастить деревья вокруг школы и так устроить внутри, чтобы зимой из окна школы выглядывал рай.

Зато через много лет теперь растения каждому стали сами собой рассказывать о хорошем человеке, о тех самых людях, кого вел за собой учитель.

Поседели виски, побелели от времени усы. Лицо, всегда загорелое, теперь потемнело, как бронза. Но динамка на крыше, много раз отремонтированный аккумулятор, самодельный приемник были все те же самые.

Вечерний час для учителя был самый счастливый, когда он, еще не раздеваясь, лежал на своей кушетке и, не глядя на приемник, рукой над своей головой управлял знакомыми кнопками. В этот-то самый спокойный час кто-то постучался в окно.

Учитель приподнялся, открыл форточку и на свой вопрос «Кто там?» получил ответ:

– Мы, Веселкины, Митраша и Настя, пришли по большому делу. Пустите нас, Иван Иванович.

Фокин спокойно встал, закрыл приемник, снял с двери крючок, открыл дверь и дети вошли.

Усадив гостей, учитель спросил:

– По какому же делу, на ночь глядя, вы пришли ко мне?

– На ночь глядя, – ответил Митраша, – мы к вам, Иван Иванович, пришли по большому делу, по самому большому, какое только у нас может быть.

Чем хорош был Иван Иванович, это что лишних слов никогда не тратил и нужные слова в другом человеке сразу узнавал и выбирал.

– По большому? – повторил он вслед за Митрашей. – Какое это дело?

– Отец находится, – ответил Митраша.

Иван Иванович от этих слов Митраши чуть заметно вздрогнул: он вдруг вспомнил, что четверть века тому назад совершенно такой же мальчик, любимый ученик его Вася Веселкин, разговаривал с ним на том же месте о правде истинной. Вспомнилось ему, как тогда сам чуть-чуть оторопел от вопроса мальчика и стал с ним вместе думать. И хорошо помнилось до сих пор это, что вместе придумалось: у правды нет слов, что истинная правда в делах.

– Четверть века тому назад, – сказал Иван Иванович, – мы с отцом твоим говорили на этом самом месте, что истинная правда не в словах, а в делах. Вот они теперь слова-то: чего казалось верней, похоронная! а оказывается теперь, это неправда. Что же вы, письмо от отца получили?

В эту минуту Настя, умница, понимая, что нельзя у Ивана Ивановича на ночь глядя отнимать время на разговоры, сказала спокойно и учтиво:

– Извините нас, Иван Иванович, мы письмо получили и прямо к вам, как к отцу.

И подала ему в руки письмо.

– А! – только и сказал Иван Иванович, сразу все поняв и мгновенно по привычке учительской переходя от слова к делу.

Он повернулся к столу, к лампе. Долго читал, долго изучал письмо с таким видом, как будто делал самое-что-то важное, самое главное. После того хватился за конверт и стал его долго разглядывать.

Закончив изучение конверта, в таком же раздумье, как бывало в старину с Васей Веселкиным, обратился к гостям: сам один не может решить, а необходимо вместе подумать.

И пересел на кушетку и детей позвал сесть рядом с собой.

– Все понимаю, – начал Иван Иванович, – у нас было одно такое дерево, теперь от него остался только пенек, и там растет Васина елочка: вы ее знаете. Это дерево срубили на фанеру для самолетов. А старый лесник Антипыч тогда рассказывал Васе и мне тоже не раз говорил, что где-то на севере у какого-то маленького народа есть священная чаща и там дерево к дереву стоит так часто, что стяга не вырубить, и если дерево срубить, то оно не упадет, а только прислонится к соседнему и будет стоять. Эти деревья так чисты, что нет сучков на большую высоту, а под деревьями мох белый олений и тоже чистый и теплый, станешь на коленки и только чуть хрустнет и будет, как на ковре. Тогда кажется человеку, будто его эти деревья, поднимаясь к солнцу, и самого поднимают. Сам Антипыч так рассказывал. Вася, отец ваш, ему говорил: «Ты, Антипыч, это нам сказку заводишь».

В ответ на эти слова Антипыч снимал с головы шапку и говорил: «Это не сказка, это правда истинная».

А после Вася ко мне приходил и спрашивал меня, есть ли на свете какая-нибудь другая правда, одна истинная и какая-нибудь неистинная.

«Правда неистинная, – отвечал я, – называется ложью, а истинная правда на свете одна, и эта правда не в словах, а в делах».

– Ты теперь меня понимаешь, Митраша? – спросил учитель.

– Хорошо понимаю, – ответил Митраша, – мне тоже кажется, будто отец рассказывал про белый мох со слов Антипыча, что на мху чисто, как в императорском дворце.

– Вот правда! – сказал учитель. – Я тоже помню, Антипыч говорил, конечно, так: в императорском дворце. Теперь я думаю, что это не сказка: чаща эта есть где-то на севере, и отец ваш вспомнил ее и теперь хочет помочь нашему делу: руки-то все-таки нет у него, и правой руки, так просто воевать нельзя ему, то вот он хочет помочь этим способом. По-моему, чаща эта есть на свете, и отец ваш ее непременно найдет. Отец ваш – смелый, умный и правдивый человек: он правду не променяет на сказку, напротив, он и сказку сделает правдой, он эту чащу найдет.

– Сказку сделает правдой! – повторил Митраша. – Разве так можно?

В это время, когда Митраша и сам учитель его Иван Иванович, такой маленький Митраша и такой большой и даже старый учитель, вместе приходили к какой-то неведомой чаше и в чаше находили какую-то правду истинную, маленькая женщина Настя сгорала от нетерпения перейти к правде, к самой правде, как она ее понимала. Вот почему, улучив минутку, когда Митраша открыл учителю свой план идти на север искать отца, тихонько и спокойно сказала:

– Вот только, Иван Иванович, мы адреса-то не знаем: отец не пишет, где эта чаша, где даже он сам.

– Как не пишет, – ответил Иван Иванович, – а на конверте разве вы не заметили штемпель: Пинега. Чаща, наверно, где-нибудь там, и сам он где-нибудь в больнице или в лазарете. Очень даже просто пойти туда и найти. Поезжайте, поезжайте – сказал Иван Иванович.

И детям показалось, будто учитель ушел от них куда-то далеко в свою какую-то учительскую и оттуда глядит и все видит, и знает, о чем думают дети. Но детям туда, в учительскую, нельзя и оттого никак не поймешь, то ли вправду можно ехать им за отцом, то ли учитель смеется.

Помолчав недолго, дети смущенно и осторожно спросили, сначала Митраша:

– Это вправду, Иван Иванович?

Умница Настя хитро поправила:

– Как ты смеешь, Митраша, так говорить: Иван Иванович всегда говорит правду.

Между тем Иван Иванович, глядя на детей издалека, вдруг как будто вышел из своей далекой учительской, повеселел, погладил Настю по головке, сказал:

– Сейчас пока вы никому ничего не говорите. Пусть это будет вашей великой тайной и вы храните ее. Там, на Пинеге, я слышал, живут простые, хорошие люди, и их смешно зовут там: пинжаки. Поезжайте, детишки, смело, такое раз в жизни приходит, счастьем будет великим на всю жизнь, если найдете отца.

Митраша поверил учителю и сказал:

– И отца найдем, и Корабельную Чашу.

Настя же все еще не совсем вверилась тому, что учитель говорит совершенно серьезно и спросила:

– А вы нам поможете, Иван Иванович?

Тогда Иван Иванович уже несомненно вполне серьезно ответил:

– Вы сейчас, детки, идите спать и будьте спокойны, я же все обдумаю, посоветуюсь с кем надо и после все вам скажу. Да, конечно, если только возможно, я вам помогу.

Тогда дети, как будто и вправду свалив заботу о будущем на учителя, пошли домой и там сразу уснули.

Часть третья Друзья

Глава восьмая

Медицинская сестра Клавдия Никитина, вставая утром, привыкла начинать день с того, что отрывала листок своего календаря на столе и, покручивая бумажку, некоторое время в постели собиралась с мыслями.

Она была немолодая, но нельзя тоже сказать, чтобы совсем и старая девушка. Может быть, оттого каждое утро мысли ее разлетались веером в стороны, и каждое утро их надо было связать.

Вот отчего она каждое утро скручивала в трубочку листик и все крутила и крутила, пока не складывался ясный план рабочего дня.

Собравшись с мыслями, сестрица одевалась, умывалась, делала свою гимнастику и в то же время не выпускала из рук скрученный в трубочку листик отрывного календаря.

Бывало, положит где-нибудь рядом трубочку во время умывания или гимнастики, а потом непременно найдет и все крутит и крутит, теперь скорей всего уж без всякой мысли, по одной только привычке.

До того ее доводила эта досадная привычка, что потом и после чая захватит трубочку на службу, да так и ходит от больного к больному. Бывает, конечно, возле какого-нибудь серьезного больного она и забудет трубочку. Так вот до чего же берет в свои руки человека привычка, что деловая женщина тут же начинает искать свою игрушку.

– Чего это вы ищете, Клавдия? – спрашивает старшая сестра Махова.

И Клавдия тут непременно что-нибудь соврет: скажет – пинцет потеряла, щипцы или бинт. Нельзя же сказать старшей сестре, что ищет свою крученую трубочку из листика отрывного календаря.

В этот раз, обходя поутру больных, Клавдия должна была поправить подушку у сержанта Веселкина. И тут-то, в его постели она и потеряла свою бумажку. После, когда она хватилась и вернулась к Веселкину, чтобы взять свою трубочку, сержант уже нашел ее, раскрутил здоровой левой рукой и читал.

Охотно бы Клавдия подошла к сержанту и поболтала с ним. Была она далеко не молодая девушка, но сохранилась птичкой, летала и щебетала, как молоденькая, Старшая сестра Махова, женщина с большой семьей на руках, говорила о Клавдии:

– Птичка все о чем-то мечтает!

И вот как раз, когда птичка подлетала к сержанту, внезапно встречается Махова и спрашивает:

– Вы опять что-то ищете?

Клавдия без слов повернулась, и Веселкин сделался обладателем календарного листка.

Часто бывает, даже и целая книга лежит-лежит в библиотеке на полке, и люди ее обходят. Но случайно обратит на нее внимание ее настоящий читатель, и книга оживает.

Так и этот календарный листик, скрученный в глупую трубочку, попал теперь в руки того, кто его ждал.

На развернутом листике был напечатан портрет Белинского, и Веселкин прочитал под ним его знаменитые слова о том, что мы – русские – призваны сказать всему миру новое слово, подать новую мысль.

Так постоянно бывает между людьми: мысль, как крылатое семечко по ветру, находит какой-то свой способ лететь от человека к человеку и находить своего друга, хотя бы и через сто лет и за тысячи верст.

Так и в этот раз слово нашло своего человека и сделалось его собственной жизнью.

Кто знает, совсем это может быть и не случайно, если вникнуть всем своим умом и сердцем в жизнь этого человека, разобрать во всех подробностях, почему, может быть, сотни людей на то же самое слово глядели слепыми глазами, а тысячу первый взглянул и понял.

Веселкин взглянул – и схваченное глазами слово проникло в него.

Веселкин понял.

И вышло теперь, что мысль Белинского, как крылатое семечко, вылетело от одного человека, через сто лет прилетело к другому и пришлось ему так же точно, как приходится на сухую разогретую землю капля дождя.

Бывает же так!

Веселкину сразу же вспомнилось, как он мальчиком со своим учителем Фокиным решали когда-то вопрос о правде, о том, что вся правда в делах остается, и оттого, – может быть, у правды нет слов, и постоянно люди между собой говорят:

– Дайте нам правду, а не пустые слова!

Но как же это может быть, правда отдельно, как голая, живет только в делах, а слова о ней, как одежда голых людей, висит и болтается где-то в стороне на веревочке?

А вот у Белинского правда всего нашего дела переходит в слово. И это новое слово укажет всему миру новый путь.

Обернув страничку на другую сторону, Веселкин прочитал там о том, что великий демократ родился в 1811 году, а умер в 1848-м. Выходило, что новую мысль Белинский предсказал в первой половине прошлого столетия.

«Как это могло быть, – спросил сам себя Веселкин, – что Белинский задолго до нашей революции мог сказать так смело и решительно?»

В прежнее время, когда был здоров, Веселкин не стал бы заниматься праздными вопросами. Он бы просто вспомнил Фокина, примерился бы к его пониманию, и так бы ответил сам себе:

«Каждый из нас понемногу думает вперед, и это от каждого складывается в одно место, куда приходит великий человек, соединяет все в одно и решает».

Теперь же из-за больной руки он шевельнуться не мог, и голова от нечего делать вертела вопрос, раньше казавшийся праздным.

Сержант, раздумывая, повернул глаза к окошку. Небо с его места нельзя было видеть. Но пойменный луг, заваленный снегом, широко расстился. Было на севере самое время начала весны света, когда свет после долгих, почти неразмыкаемых между собой ночей, приходит, как великая радость жизни.

Это время весны света, когда о весне думают только хозяйственники, да мельчайшие черные блошки появляются во множестве великом и сидят на снегу.

По нарочно приготовленной зимней ледяной дороге лошади «лебяночки» вывозили на берег для весеннего сплава из леса ошкуренные желтые «хлысты».

День был солнечный, и на белом снегу тени от сложенных ярусами хлыстов были голубые. Так и догадался Веселкин, не видя неба, что большие, голубые, переходящие пойму по снегу тени были от облаков.

«Вот, – подумал он, возвращаясь к своей мысли, – неба-то я и не вижу, а по этой пойме понимаю облака и что на воле сейчас ветер, и не очень сильный: тени проходят степенно. Так может быть и Белинский догадался о том, что родная земля когда-нибудь скажет новое слово для всего света. Родится у нас, а придется для всех слово правды».

Ему представилось: где-то на невидимом небе всего человечества бродят скопленные всеми веками великие мысли, бросают тени, как облака, и по этим теням особенно чуткие люди догадываются и понимают самые мысли...

Еще раз прочитал он о Белинском и только теперь обратил внимание на заключительные слова: «...какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать...»

«Служу Советскому Союзу, – ответил сам себе Веселкин на эти слова Белинского. – Это мое дело правды». – «А вся большая правда?»

И повторил из Белинского: «...а какое это слово, какая это мысль, об этом пока рано нам хлопотать...»

Этим он как будто заглушил в себе, как ему казалось, «праздную» мысль о необходимости слова. Но зато в чистой совести раненого воина сошлись и остановились без спора и те проходящие на невидимом небе облака, и видимые голубые тени на снегу, и все стало так – о чем бы только ни подумаешь, все тут же мгновенно разрешается в согласие.

Тихо стало в душе, ясно в голове, и тут явилась на памяти угнетенная елочка, за сто лет собравшая рост человека с поднятой рукой. Но в минуту согласия даже такое несчастное деревце вдруг процвело.

Свет великий, безмерный, могучий и страшный бросился к угнетенному существу, но этот страшный свет тут же был взят, измерен, устроен, жизнь победила – и елка покрылась красными кровавыми цветами в золотой пыли.

Веселкин радостно подумал и об этой своей елочке, и о собственном сучке своей правды, и о себе самом, и о всем русском угнетенном народе, и о том, что на всех нас бросился свет правды безмерной, могучей и страшной...

«Если даже простая елка, – думал Веселкин, – столько лет должна была болеть и пере-страивать теневые хвоинки на солнечные, то как же, переделываясь, должен болеть русский человек, чтобы вынести такой великий и страшный свет!»

Вспомнился и Антипыч, как он, указывая на солнце, говорил: «У них солнце, а у нас правда!»

Приходило все хорошее, все складывалось, все устраивалось так ладно в чистой совести раненого воина.

Или это он так выздоравливал? Скорей всего так, а то почему же его здоровая левая рука, самостоятельно и независимо от мечты о каком-то новом слове для всего света, явно пыталась выкрутить из листка отрывного календаря козью ножку. А уж когда больному курить захотелось – это бывает самый верный признак выздоровления.

Глава девятая

День весны света на севере в снегах сиял много ярче того, как он сияет на юге над темной землей. День сиял на радость и другого больного, лежащего недалеко от Веселкина.

Человек этот был такой большой, что длины койки ему не хватало, и ноги свои он то подгибал, то помещал, вытягиваясь, сверх стенки железной кровати.

Такой большой человек и немолодой, лет под шестьдесят, видно очень крепкий, мощный, теперь лежа внимательно глядел в одну точку, и глаза его, совсем детские и ясные, какие иногда бывают у больших людей, на досуге чему-то по-детски улыбались.

А это было, что он давно заметил, как Веселкин своей здоровой левой рукой начал что-то выкручивать из календарного листика. Простой человек легко мог догадаться о добрых мыслях соседа и потому, что мало-помалу ему становилась понятна цель кручения: пальцы здоровой руки делали козью ножку.

«Покурить захотел!» – понял большой человек, и тут-то он и стал следить за пальцами светящимся глазом и с детской улыбкой.

Кто не знает, что когда больному курить захотелось, то это значит то же самое, что жить захотелось.

Большой человек сочувствовал своему соседу. Видно, ему от души хотелось, чтобы больной сосед свернул козью ножку и, может быть, как-нибудь исхитрился и покурил.

Да и самому-то ему, наверное, захотелось с соседом покурить и побеседовать.

Не так легко, однако, было одной рукой свернуть папиросу. Раненый, о чем-то размышляя, здоровой рукой подносит бумажку к забинтованной руке с торчащими из-под белого бинта белыми бескровными пальцами с синими ногтями. Три пальца забинтованной руки – большой, средний и указательный – зашевелились и помогли здоровой руке скрутить козью ножку.

Вот тогда-то большой человек, уверенный, что дела у соседа пошли к лучшему, обратился к нему:

– Товарищ дорогой! Вижу, ты скрутил себе козью ножку. Может быть, ты знаешь, где бы нам с тобой можно было достать табачку и покурить?

Веселкину нельзя было повернуться, чтобы увидеть лицо соседа. Но по голосу он чувствовал друга и ответил ему:

– Очень бы хотел покурить, но можно ли? Мне и в голову не приходило покурить. Я думал совсем о другом. А рука это сама крутила. Видно, должно быть, и в руке тоже свой какой-то умишко живет.

Большому человеку эти слова очень понравились. Он засмеялся и, как водится у всех людей в дороге или на чужбине, спросил:

– Ты сам-то, товарищ, откудашний?

Охотно и с дружеским чувством, возбужденным одним только голосом, сержант ответил:

– Я издалека, из-под города Переславля-Залесского.

И потом, отвечая на другие вопросы, и о том, где этот город, и что в этом городе люди делают, о всем таком рассказал. И еще – что живет он не в самом городе, а в селе Усолье, и что жена его Елизавета, и он не знает верно: жива ли она, и что дети у него, и тоже не знает – живы ли они двое.

До тех пор пришлось отвечать Веселкину, пока соседу его стало все ясно. И сержант стал ему своим близким человеком.

Вот только после этого длинного опроса Веселкину тоже захотелось узнать, кто же его сосед.

На первый же вопрос, откуда он родом, сосед охотно ответил:

– Мы – пинжаки.

Веселкину до того это показалось чудно, что он чуть-чуть не забылся, и двинулся, чтобы повернуть голову в сторону соседа.

Это заметил сосед и, упредив вопрос, сам пояснил:

– Бурлачим мы, по всем северным рекам бурлачим, и как мы с Пинеги, так все и зовут нас «пинжаки».

– С Пинеги? – повторил Веселкин.

И стал с трудом вспоминать, что это такое хорошее и даже прекрасное связано в его памяти с этим словом.

– Пинега-река впадает в Северную Двину, – сказал он.

– В Двину, – повторил за ним сосед. – А в Пинегу бегут наши две речки две сестры – Кода и Лода.

– Что-то я, – сказал Веселкин, – слышал такое хорошее о ваших местах, лучше чего и на свете нет...

Сосед ответил:

– Нет краше на свете места, где Кода и Лода, а между ними село Журавли.

И приподнялся над койкой, а ноги спустил и стал говорить в волнении, чуть заметно покачиваясь в стороны, как маятник, но такой великий маятник, что ему качаться много не надо, и только чуть намекнуть на ту сторону, куда маленькому маятнику необходимо надо качнуться.

– Нет краше нашей Пинеги! – повторил сосед, И чуть-чуть качнулся.

– Обрывы и скалы!

И намекнул другую сторону.

– Красные и белые горы!

И опять намек.

– А на горе стоит монастырь!

Пятнадцать верст не доедешь –

И видко!

И пятнадцать верст переедешь –

Все видко!

Под высокий берег уходит вода.

И под землей едут карбасы.

Живые помочи!

На этом месте Веселкин остановил своего соседа и спросил:

– А что это: Живые помочи!

– Не знаю, – ответил сосед, – так пинжаки всегда говорят, когда гораздо высоко зайдешь или гораздо низко спустишься, или станет порато жарко, или порато морозно, или порато страшно, или чудно, или зверь нападет, или черт за ногу схватит.

– Вот оно что, – подивился Веселкин, – значит, ты сказочник?

– Нет, – ответил сосед, – сказками у нас заманивают в небывалое, а я говорю только то, что между нами самими: я только правду говорю и никуда не заманиваю. Я говорю: нет на свете краше того места, где реки текут Кода и Лода.

– А как тебя зовут?

– Меня зовут Мануйло, и они все думают: за то меня назвали Мануйло, что я умею манить. А я говорю только правду, они же до того врут, что мою правду считают за сказку и ходят ко мне слушать. Я же так люблю сказывать правду! Они приходят, и я ставлю им самовар.

– А кто же это они такие? – спросил Веселкин.

– Наши колхозники, – ответил Мануйло, – такие же пинжаки, что и я. Только они теперь на землю садятся, а я все бурлачу и остаюсь на своем путике.

– Каком таком путике? – спросил Веселкин.

– Путика не знаешь? – спросил Мануйло. – Ну об этом надо много сказать. Кода и Лода – это, я сказывал, две родные сестры, и между ними стоит наша деревня Журавли.

В прежнее время все пинжаки в Журавлях бурлачили и охотились на путиках.

Но как все люди разные, то и тут тоже было по человеку: одни больше бурлачили, другие больше охотились на своих путиках.

Что же до того, сладко ли мы живем, я тебе на это отвечу: не гораздо сладко, но тоже нельзя сказать, что гораздо и горько.

Мы не от бедности бурлачим и охотимся, а что живем в лесах и между реками.

И колхоз наш «Бедняк» не по бедности назван, а по глупости.

Думали бедностью своей похвалиться и вызвать к себе самим жалость.

Вот и получилось теперь: в государстве стоит знамя «Зажиточная жизнь», а пинжаки хвалятся бедностью.

Видно, Мануйло был сильно задет своим спором с колхозом «Бедняк». Он опять поднялся на кровати, спустил ноги и опять стал помогать своей речи чуть заметным покачиванием.

– Становую избу, друг мой, на путике ставил мой прадед Дорофей.

Одним рубышом мой прадед Дорофей на первом дереве от становой избы поставил свое знамя.

Это знамя на путике было Волчий зуб.

Мой прадед шел на путике и через девять деревьев ставил свое знамя на север, на полдень, на восход и на закат.

Ставил свое знамя и приговаривал:

– Живые помочи!

И это значило у моего прадеда: «Ты, другой человек, не ходи на мой путик ни с восхода, ни с заката, ни с севера, ни с полудня.

Живые помочи!

И ты, ворон, не смей клевать мою дичь.

Живые помочи!»

Так идет мой прадед по своему путiku, зачищает пролысинки, разметает птичьи гильбища, поправляет пуржала, ставит петельки, силышки и приговаривает постоянно:

– Живые помочи!

На конце путика, далеко в суземе, мой прадед поставил едомную избушку¹: в ней он ночевал, складывал дичь, подвешивал пушнину.

Мой дед Тимофей от отца своего Дорофея получил по наследству тот путик, и на могиле Дорофея он поставил деревянный памятник и на нем топором вывел наше знамя: Волчий зуб.

Памятник и сейчас стоит.

И я тоже, как получил от отца своего по наследству путик, на могиле его поставил деревянный памятник и вывел на нем топором наше родовое знамя – Волчий зуб. Памятник этот и сейчас стоит.

На кладбище разные знамена: Воронья пята – три рубыша, Сорочье крыло – четыре рубыша, наше знамя Волчий зуб делается одним рубышем.

Моя обида с колхозом вышла из того, что когда начались колхозы, с меня потребовали: отдал бы я по доброй воле в колхоз свой путик.

А я свой путик любил и не хотел отдавать своего путика. Никто не может по моему путiku ходить, как я.

Я сказал: «Примите меня в колхоз со своим путиком. Я буду мясо и пушнину для колхоза доставать больше всех». Я сто раз их просил, я умолял: «Примите меня в колхоз со своим путиком».

Они же меня не принимали, и я хожу в единоличниках.

Они называют свой колхоз «Бедняком», а кругом везде знамя «Зажиточная жизнь».

Они не хотят меня принять со своим путиком, а я не хочу быть единоличником.

Что делать?

Я работал в лесу на свалке, работал и на скатке хлыстов, и на окорке, и на вывозе.

Тошно было на душе, падало дерево, не захотелось от него уходить. Я не поспешил – и попал под дерево.

Высказав свою обиду, Мануйло перестал покачиваться и просто спросил:

– Скажи, друг Вася, кто у нас прав: я или они?

– Конечно, – ответил безо всякого раздумья сержант, – правда на твоей стороне. Ты хочешь добра колхозу, ты говоришь им правду, а они твою правду принимают за сказку и боятся – ты обманешь их своим путиком.

– Друг, – сказал Мануйло, – дай мне совет, как же мне теперь свою правду сыскать: ведь чуть из нашего леса вышел, никто и не понимает наших путеков, никто ничего не разберет.

– А ты иди прямо к Калинину, – сказал Веселкин, – он разберет.

¹ Едомной избой, в отличие от начальной становой, называется подсобная изба на конце путика в лесу.

– Что ты говоришь: идти к Калинин у со своим путиком?

– То-то и будет хорошо. Ты придешь со своим путиком, тебе там помогут, вот как только поправишься, так прямо и иди в Москву и успеешь вернуться на весеннее бурлачество к сплаву лесов.

Мануйло в глубоком раздумье поставил на колени локти, на ладони положил голову со всеми своими щеками, покрытыми какими-то кустами и волосатыми бородавками.

Зато какие чистые, какие ясно-голубые детские глаза теперь раздумчиво глядели вдаль.

И великан повторял:

– Идти в Москву! Идти к Калинин у со своим путиком! Живые помочи!

– Отчего же не идти, – отвечал ему добрый товарищ. – Раз ты правду свою чувствуешь, ты за нее должен стоять и биться. К Калинин у люди идут за правдой даже с Ангары, с Енисея.

– С Ангары, с Енисея, – ответил Мануйло, – люди идут с делами. А я пойду со своим путиком!

– Не с путиком своим ты пойдешь, а с правдой: у каждого к правде есть свой собственный путь, и каждый должен за него стоять и бороться. Смело иди!

После того Мануйло выглянул в свою какую-то даль, и то ли он там что-то хорошее разглядел, чему-то заметно обрадовался, вернулся сюда к себе, и радостно, и твердо сказал:

– Это верно, у каждого человека на пути к правде есть свой путик, робеть тут нечего, спасибо, Вася, иду к Калинин у!

Глава десятая

– Есть у каждого на родине что-нибудь такое дорогое, такое заветное, о чем хочется сказать вслух на весь мир, а сказать отчего-то совестно.

Так, правда, совестно об этом сказать! Кажется, все равно, что срубить заповедный лес. Отчего это?

Не оттого ли совестно, что родина у всякого чужестранца есть, и каждый про себя думает, будто его родина лучше всех, и если каждый из нас перед другим будет выхваляться своей родиной, то будет раздор ни для чего.

И оттого, если кто-нибудь любит свою родину по-настоящему, то об этом не мечет бисер слов перед людьми, а молчит.

Мы же сейчас об этом самом дорогом на родине скажем не для того, чтобы хвалиться, а чтобы понять этих двух больных в госпитале за номером 231.

Такой вышел случай в этом полевом госпитале, что раненый сержант Веселкин, не имея возможности поглядеть на собеседника, узнавая его душу только по голосу, вдруг соединился душой вот с тем самым заветным, дорогим, о чем вслух говорить не хочется, и, наверно, оно и не надо говорить.

Вот это самое дорогое на родине и есть то, что в какую бы труппу ты ни попал, нигде на родине ты не будешь один, как на чужбине, везде найдется понимающий тебя друг, и кажется тогда при душевной беседе, что вся родина, огромная страна со всеми своими веками жизни сейчас является в двух лицах: ты, как представитель одной стороны, и твой друг – представитель другой, и вы с ним советуешься.

И такая она вся – советская Русь.

Вот это и есть нам самое дорогое: наша родина есть родина нашего друга.

Так оно, конечно, и есть: в этом чувстве друга и состоит главное богатство нашей родины.

Так оно и было: одного раненого привезли в госпиталь с поля сражения, другого, ушибленного деревом, принесли и положили рядом.

И оба они, каждый отдельно, стали думать, молча, об одном и том же: «Что это со мной случилось такое?»

Веселкин думал по-своему, Мануйло по-своему о чем-то близком тому и другому: один стоял за всех с одной стороны, другой – тоже за всех с другой, оба уверенные – если сойдется, то это и будет правдой.

Трудно было сержанту слышать голос близкого душой человека и не видеть его лица. Уже несколько раз он порывался повернуть голову и поглядеть на лицо своего друга, но каждый раз приближение боли его останавливало...

И только уж когда из разговора вдруг вышло, что идти к Калинин у со своим путиком, это значит за правдой идти. Веселкин не выдержал, резко повернулся...

Ничего не удалось ему увидеть: от боли все замутилось в глазах и вырвался крик.

Как раз тут проходила Клава с теплой водой и бинтами. Услыхав стон, сестра поставила на табуретку таз с кувшином и принялась разбинтовывать плечо у больного сержанта.

Сестра, наверное, поторопилась и что-то сделала неправильно.

– Что вы делаете? – остановил ее старый врач. Эти добрые люди, старые земские врачи, закалялись в строгости, и сейчас, конечно, голос прозвучал так, что сестра опомнилась:

– Как вы не видите, что бинт присох! Вам ли, медицинской сестре, мне говорить, что надо размочить теплой водой, а потом уже и снимать бинт.

Услыхав недовольный голос врача, тут же явилась и старшая сестра Махова и тоже на Клавдию:

– Вы все мечтаете, все ищете и забываете, а что возле – ничего не видите...

Смущенная Клава отмочила бинт, и он легко снялся.

Осмотрев рану, доктор поморщился, и больной понял – руку ему скорей всего придется отнять. Как и многие больные, он, конечно, не знал того, что знают врачи, но тоже и чувствовал нечто такое, о чем врачи знать не могут: так он чувствовал сейчас, что рука его жива, что она не мертвая и еще может ему пригодиться.

– Прошу вас, доктор, – сказал он, – руку мне эту не отнимать: ведь это правая моя рука и на что-нибудь мне еще и пригодится.

– Что вы говорите! – ответил врач. – На что она вам такая годна? А отнимать, мы сделаем, будет совсем нечувствительно.

– Какие уж тут чувства! – ответил больной.

От этих слов доктор, как это с ними бывает, вдруг направил внимание свое не к болезни, а к самому больному. Так бывает у них.

– Будьте рассудительны, сержант, – сказал он, – если так оставить, то вам все время придется только тем и заниматься, что следить за рукой. Вам ничего нельзя будет делать.

«Делать!» – повторил про себя Веселкин.

И в одно мгновение пронеслось у него в голове что-то очень хорошее, пережитое вот только-только, сию же минуту. И это хорошее тут же и определилось: с рукой своей, по правде говоря, он уже про себя простился, и как-то стало ему не жалко руки. Но до того хорошо ему что-то сейчас пришлось по мысли: какая там рука, если потеря миллионов живых людей находила себе оправдание: наша страна скажет миру новое слово!

В один миг это все пронеслось у него в голове, и на слова доктора о том, что без правой руки ему ничего нельзя будет делать, он ответил:

– Не все же, доктор, делать и делать!

Доктор очень обрадованный, что нашелся больной с признаками самостоятельной мысли, улыбнулся и спросил:

– Ну, а что же останется, если сидеть инвалидом и ничего не делать?

– Подумать можно, – ответил Веселкин. – Вот я сейчас в отрывном календаре прочитал: Россия за то и терпит так много, что в конце концов должна сказать всему миру новое слово.

– Это верно, – сказал доктор, – Россия между востоком и западом столько терпела и от Востока и от Запада, что наконец должна же понять, из-за чего и за что она все терпела. И если она после всего скажет какое-то слово, то это будет словом правды.

– Словом правды! – повторил Веселкин. И чему-то улыбнулся.

Доктор вопросительно поглядел на больного. И Веселкин сказал:

– Почему-то бывает часто, подумаешь о чем-то великом, а тут же из-под рук и маленькое показывается. Мне подумалось, что если бы на руке хотя бы два пальца могли работать, и то можно бы папироску свернуть.

И показал доктору, как он этими своими двумя пальцами правой руки мог себе из календарного листика скрутить козью ножку.

Доктор очень смутился, он никак не думал, что при оборванной «аксилярис» и разбитых плечевых сочленениях пальцы все-таки могли бы действовать.

В раздумье он развернул козью ножку и увидел портрет Белинского и под ним прочитал его слова о том, что Россия скажет на весь мир новое слово.

Веселкину очень бы хотелось сказать доктору что-то совсем от души, но вдруг почему-то ему стало неловко, и он заставил себя от лишних слов отказаться.

А как ему хотелось бы сказать, что не только от Белинского он узнал о великом свете человеческой правды. Он хотел бы в этом раскрыть самый смысл слов: служу Советскому Союзу. И потом хотел бы рассказать об угнетенной елочке, как бросился на нее свет великий, могучий и страшный, как она ослепла в этом свете и долгое столетие неподвижная стояла на всем свету, оставаясь ростом в человека с поднятой рукой. И как она потом расцвела красно-фиолетовыми цветами-шишками, осыпаемая золотой пылью.

И как он, прочитав Белинского, вспомнил, как елочку, всю родину свою в свете великом, могучем и страшном.

Если бы Василий решился своими словами сказать это доктору и он, старый земский, врач, отдавший всю жизнь свою на службу народу, узнал бы себя самого в этой елочке, как бы он тут же обнял солдата этого!

Сына так не обнимешь!

Но так уж почему-то у нас всюду хорошим людям о самом главном стыдно бывает сказать.

Доктор, прочитав листик, старательно расправил его и передал обратно больному.

После нового осмотра правую руку Веселкину оставили, а здоровую левую доктор от всего сердца пожал.

Глава одиннадцатая

Веселкин часами лежал с закрытыми глазами, стараясь вспомнить то хорошее, что связывалось у него в памяти с Пинегой. И вот однажды, перебирая в памяти далекое прошлое, он вспомнил рассказы Антипыча о какой-то заповедной Корабельной Чаше, такой чудесной, на какой-то горе, третьей от речного берега.

И тут ему, как молния, сверкнуло:

«Эта Корабельная Чаша была где-то за Пинегой».

Выхватив это из памяти, Веселкин сейчас же обратился к своему теперь дорогому товарищу и спросил его:

– Вот, Мануйло, в детстве наши мне лесники сказывали о какой-то удивительной Корабельной Чаше за Пинегой: что будто бы в этой сосновой чаше дерево к дереву стоят так часто, что старому и свалиться некуда: падая, облокотится о близкое дерево и стоит, как живое.

На какой реке эта Чаша, я не запомню, а только так понимаю: у этой реки берег поднимается тремя горами, на первой горе лес прижался ко второй скале еловый, на второй горе какой-то лес – не запомню, кажется березовый, а на третьей горе стоит Корабельная Чаша.

И в этой чаше так часто – стяга не вырубишь, и мох белый, как скатерть лежит. В этой чаше и тебя самого деревья всем миром поднимают, и тебе кажется, будто ты прямо к солнцу летишь.

– Скажи, Мануйло, ты слышал когда-нибудь эту сказку?

– Это не сказка, – ответил Мануйло, – Корабельная Чаша стоит за Пинегой верст на сто подальше в сузем в немеряных лесах. Это не сказка.

– А разве за Пинегой еще сохранились немеряные леса? – спросил Веселкин.

– Мало здесь, но там в области Коми такие леса еще есть, и Корабельная Чаша – совсем не сказка: Корабельная Чаша вся на правде стоит.

Бывало, старики начинают манить, вот и думаешь, сам еще маленький, – это они нас, ребят, заманивают в царство Коми.

Речки Кода и Лода, по их словам, будто бы там и начинались, в царстве Коми. И там протекала большая река, всем тамошним рекам река, Мезень.

А мы думали, ничего этого нет, ни Корабельной Чаши, ни Коми.

Бывало, слушаешь, слушаешь, да и спросишь:

– А где это, царство Коми?

Бабушка всегда отвечает на это:

– В немеряных лесах, дитятко.

– А разве, – спросишь, – есть леса немеряные?

– В Коми все леса немеряные!

Так мы и думали с детства – нет на свете никакого царства Коми и нет немеряных лесов и Мезень-реки, и все это держится только на сказках для нас, маленьких, а по правде ничего этого нет, даже и реки Мезени нет, а есть только наши Кода и Лода.

Тоже так говорили нам о каком-то некотором царстве и некотором государстве при каком-то царе Горохе.

И вдруг однажды оказывается, что и Коми есть, и леса немеряные там, и на третьей горе у реки стоит Корабельная Чаша.

Так зачем же, думаю, нужно все запутывать в сказки, если можно о правде говорить, и оно будет лучше сказки? Так я с этого начал в сказках правду искать, и у меня это дело бойко пошло, люди стали ко мне ходить – слушать меня. На своих сказках для людей сколько я в своем самоваре воды выпарил!

Было однажды – я уж начал тогда полесовать, – пришли мы, полесники, из далекого промысла...

Было как у всех: мы прибрали свою пушнину, бабы прибрались, поставили на стол всякую снедь, вино. Тут мой друг Кузьма достал из своей сумки палочку, и это было ушкало, на чем мы расправляем и высушиваем беличьи шкурки. Ушкало было не нашей работы, и Кузьма захватил его скорей всего на потеху ребятишкам.

Вот как раз в то время, как Кузьма достал ушкало и положил на стол, постучись к нам неизвестный человек и попроси у нас ночлега.

По нашему северному обычаю гостя впустили, приняли, как своего, и, не спрашивая даже имени, – усадили за стол.

И он, спустя малое время, сам говорит о себе:

– Я из Коми иду.

Ребятишки на печке зашевелились. По себе их понимаю: сам тоже долго думал, что Коми – это в сказках и что в Коми леса немеряные и цепь землемерная, цепь врага рода человеческого, тех лесов не касалась.

Сказки это о враге рода человеческого – Антихристе передавались старухами из рода в род.

И на вот! из этих сказочных немеряных лесов приходит живой человек!

Ребятишки головки подняли, локотками подперлись и замерли.

Гость был нестарый, со светлой бородкой, ясными, светло-голубыми, небного цвета, глазами.

По-русски говорил он, как и мы сами говорим, только все-таки можно было понять – не русский был человек, – а тутошний: из Коми. Долго он отказывался от вина и все не спускал глаз с той палочки, принесенной полесниками с промысла...

Было очень похоже, гость все собирается спросить об этой палочке или взять ее в руки, но все не решается. Когда же стало ему неловко отказываться от вина, и он стакан свой налитый выпил, то осмелился, протянул руку к палочке, осмотрел ее и спросил особливо почтительно и робко:

– А могу я узнать, мои добрые хозяева, где вы нашли это ушкало?

– Это ушкало, – отвечаю я, – не нашей работы, так делают их только у вас, мы из ваших краев принесли ее показать нашим ребятишкам.

Тут гость в чем-то своем уверился и заволновался.

– Это, – говорит, – мое личное ушкало, своими руками я его вырезал. Скажите, где вы его нашли?

– В суземе, – говорю, – нашли и подивились. И показал гостю, как у нас делают ушкала.

– Это я знаю, – говорит гость, – как у вас делают. Мне бы охота узнать, в каком суземе вы нашли его: сами знаете, какой наш сузем.

– Да, – говорю, – сузем наш велик.

– Велик-то велик, – говорит гость, – но зато же он чуткий. Человек, зверь, даже птица пролетит бывало – и то чутко. Сузем наш, как море, один человек пройдет – и во все стороны побегут от него вести. Десять лет в прошлом я потерял в суземе это ушкало, а вы пришли и его увидали. Я даже точно скажу теперь, где вы нашли мое ушкало: нашли вы его в наших немеряных лесах на путике Воронья пята.

Тут не выдержали и ребятишки на печке и все там зашептали:

– В немеряных лесах!

– Скажу, Вася, я даже и оробел и по привычке своей говорю:

– Живые помочи! Да как же ты знаешь, где мы нашли твое ушкало?

– Воронья пята, – сказал гость, – это наш родовой путик и достался нам от прадеда, и наш прадед вырубил там везде наше знамя: два коротких рубыша – это два пальчика вороньей пяты, третий же – пальчик и ногу в один длинный рубыш... А какое вы сами ставите на своем путике знамя, можно сказать?

– Да отчего же нельзя, – говорим, – конечно, можно. Наше знамя – Волчий зуб – мы ставим одним рубышом.

– Волчий зуб! – говорит. – Знаю и знал его с малолетства. Ну, теперь я вам точно все расскажу, где вы нашли мое ушкало.

Тут полесники наши все затихли: понимаю их, боятся чужого человека.

– Все, все расскажу, – говорит гость, – как у вас вышло на промысле. На вашем путике была вам незадача: дичь попадает, но ее обирает медведь.

– Живые помочи! – говорю, – да как же ты это узнал?

– Медведя этого, – говорит, – вы скорее всего чем-то отпугнули, но дальше стало еще хуже медведя: вас ворон одолжил.

– Живые помочи! да как же ты знаешь? – спрашиваю.

А он смеется и говорит:

– Что ты на мои правдивые слова твердишь все свои «Живые помочи». Я не колдун.

И перекрестился по-нашему.

А я, Вася, в колдунов и сам не верю, только отцы, деды, прадеды этим оборонялись в лесах, и я за ними по привычке говорю постоянно: живые помочи. А оно вроде как бы и помогает.

Так вот, говорю я этому чудному человеку:

– Имя твое наше, христианское?

– Имя мое, – отвечает, – Сидор.

– Скажи, – говорю, – Сидор, как это могло быть, чтобы узнал все наши пути?

– Подожди, Мануйло, – отвечает он мне, – я еще больше вас удивлю, а потом ты сам поймешь, как я понял ваши пути. Медведя вы прогнали, а после из-за ворона бросили свои леса и перешли в наши немеряные.

– Так, – говорим, – в точности было.

– На границе ваших лесов и наших немеряных стоит часовенька старая, забытая, вся в зеленом мху, вся зеленая. Креста на ней нет, и вместо креста стоит скворешник. Видели эту часовенку?

– Видели, – отвечают все наши полесники.

– А видели, – спрашивает, – как там скворец выходит из дырочки и начинает служить свою обедню, раздувается, бормочет, – это видели?

Смеются полесники: все они это видели и на скворца на том месте дивились и много смеялись.

– От этой часовенки, – продолжает Сидор, – вы шли долго по общей тропе и вот видите: общую тропу пересекает путик, мой путик Воронья пята. Вы тут увидели: хозяйство охотничье давно заброшено, петли порваны, дичь давно выбрана вороньем и медведями. Вы тут-то решили взяться за дело и попробовать счастья на Вороньей пяте.

– Верно! – отвечаю. – Так оно и было: мы никого обижать не хотели – видим, все брошено, взяли путик и пошли к становой избе.

– Цела ли, – спрашивает гость, – становая избушка?

– Все, – говорю, – там цело, избушка и беседка: два бревна, одно посидеть, к другому прислонить спину. Прудик тут вырыт, вода чистая, вокруг растет кукушкин лен, и во льну плица² лежит.

– Это моя собственная плица, – говорит гость.

– Каждый камешек, – говорю, – на дне прудика виден, и возле камушков жмутся две рыбки.

– Вьюн и карась? – спросил гость, и когда мы ему ответили, что своими глазами видели: вьюн там был и карась, – он нам весело так говорит:

– Ну, вот, друзья мои, тут где-нибудь возле прудика вы и нашли мое ушкало.

Тут все мы обрадовались, все поняли, что были на путике у старого хозяина, и никакого нет в этом колдовства. Стали мы тут, как товарищи и друзья, просто пить вино, закусывать. Гость больше нас не стеснялся ничем, был как свой, но только заметно было: хотя он и пил, но ничуть не хмелел.

– Ты что-то таишь – сказал наконец гостю один, откровенный охотник.

И гость ему ответил:

– Ты это верно сказал: я таю.

После такого ответа как будто все сразу стали трезвыми, и гость, собравшись весь в себя, спросил вполголоса:

– А вы дошли до того места, где Лода – уходит под землю, а Кода одна бежит?

– Дошли!

² Плица – ковшик из бересты.

– Тут берег высокий горой поднимается, как стена, и к этой стене деревья как бы ветром прибиты, и на этой стене, отступя, стоит вторая стена. Вы туда поднимались?

– Поднимались.

– И как поднимешься и пройдешь немного, то увидишь – третья речная стена горой поднимается выше всех, вы и туда поднимались, и что вы там видели или не видели?

– Видели мы там, – говорю, – Сосновую Чашу – великое чудо в наших лесах: каждое дерево в четыре обхвата и до верху чистое, и ни одного сучка. Дерево стоит к дереву часто – стяга не вырубешь, и если срубишь одно дерево, оно не упадет, прислонится к другому и будет стоять.

– Ну, вот, друзья мои, – сказал гость, – эту Сосновую Чашу в немеряных лесах мы и таим, и весь народ наш таит. И вас я прошу, не показывайте этот лес никому из начальства: мы в Коми с этой тайной все растем.

– Мы это слышали, – ответил я. После этих слов я понял все, повеселел и налил всем по стаканчику.

– Чего ты смеешься? – спросил меня гость.

– Не смеюсь, – отвечаю, – а жалею вас. Кто хочет молиться – на каждом месте, к чему только захочется, может обратить свое сердце. Зачем же для этого назначать лес? Сколько ни молись в лесу, он, рано ли, поздно ли, без пользы пропадет для людей от червя или пожара.

Больше охотники в этот раз ничего не говорили, а все улеглись спать. Утром, расставаясь с гостем, спросил я:

– Ты нам имя свое оставишь или так уйдешь?

– Да я ж вам вчера сказал, – ответил гость, – имя мое Сидор.

Стало тогда в лице этого человека не по-прежнему, пришло что-то в него не свое. И я это заметил и говорю:

– Нет, это неправда, тебя не Сидором зовут.

А он глубоко взгляделся в меня, как будто что-то нашел во мне. И улыбнулся.

– Ты, – сказал он, – Мануйло, ясный человек, я тебе верю и открою тебе: я не Сидор, настоящее мое имя Онисим.

Тут я спросил этого человека:

– Скажи мне, Онисим, для чего ты о себе неправду сказал?

– О себе, – ответил Онисим, – часто человеку ради истинной правды надо неправду сказать, ты разве этого не знал? Человеку часто в наших лесах надо таиться, чтобы только жизнь свою сохранить.

Так мы расстались тогда хорошо с этим человеком, и с тех пор я еще больше стал понимать, что сама правда прямая, как ствол дерева, а мы сами, как сучки поневоле все кривые.

И так я веду свои слова: кажется – сказка, а я веду к правде!

* * *

Может быть, всякая настоящая хорошая и всем нужная сказка является попыткой каждого из нас по-своему сказать правду, найти свое собственное слово правды?

Как хорошо, если так!

Но во всяком случае мы-то это знаем наверно, что Мануйло из-за этого только всем и рассказывал о всем по-своему, чтобы какую-то смутную, но существующую правду сказать.

И когда, случалось, на его слова сердца других людей раскрывались, и вдруг все понимали свободно, весело и радостно и одинаково его слова, его сказку, он знал тогда: это правда, это он сумел правду сказать.

Сколько сказок, похожих на правду, и сколько правды, похожей на сказку, пробежало между солдатом и полесником, когда перед весной под тяжелым ледяным одеялом дремала вода!

– Так неужели же это правда, – спросил Веселкин, – что Сосновая Чаша и сейчас еще стоит на том месте, где ты сказал. Точь-в-точь и в тех же самых словах я слышал о ней от старого лесника Антипыча. Чаша эта сосновая, деревья в четыре обхвата, и что деревья такие так часто стоят, что не могут упасть?

– Как же им упасть в такой чаше?

– И что там только одни великаны, и между ними стяга не вырубешь?

– Только белый мох.

– Неужели же и это правда, – спросил Веселкин, – что на пути в Чашу старая часовня, и в ней скворец играет?

– Видел своими глазами.

– А как это может быть, что сколько-то лет вьюн с карасем в одной луже дружат? Может, они и сейчас там?

– А что им там делается! люди проходят по общей тропе, возле прудика скамеечка, тут все отдыхают, все наслышаны, все ищут глазами, где вьюн, где карась. Все видят – все радуются. Что же им сделается?... Эх, Вася, вижу и ты мою правду тоже, как все, за сказку хочешь принять, а я только о правде и думаю.

– Нет! – решительно ответил Василий. – Я тебе во всем верю, только сам в себе не могу скоро увериться: как-то кажется, не бывает все вместе: и Чаша Сосновая, и скворец за дьякона, и вьюн, и карась...

– Все бывает! – сказал великан, расставаясь со своим новым другом и любовно его оглаживая. – И бывает, и было! и что было, и чего не было – нам с тобой на стороне никогда-не разобраться. Только верно одно, что нас с тобой, двух таких чудаков, на свете еще не было.

Так из госпиталя Мануйло и отправился прямо к Калинин у правду искать, и очень скоро после того и Веселкин вышел с твердой решимостью найти Корабельную Чашу.

Сержанту даже и в голову не приходило, чтобы могла быть помеха какая-нибудь на пути необходимости победы в этой войне, он ни на мгновение не сомневался, что люди, укрывающие Корабельную Чашу, поймут его с первых слов и отдадут сокровище свое на дело спасения родины.

Он был уверен, что как только он откроет, как нужна теперь для авиации фанера высокого качества, так все за ним и пойдут.

С большим трудом левой рукой он написал домой письмо о себе, наскоро в районе по начальству оформился в своем начинании, и весь, со своей найденной на пути к выздоровлению великой мыслью о новом Слове для всего мира, обратился к исполнению военного долга: служить Советскому Союзу.

Часть четвертая Мануйло из Журавлей

Глава двенадцатая

Дети Веселкины были похожи на перелетных птиц, задержанных в пути медленным таянием снега. Как птички сидят у края снегов и дожидаются вешней воды, так и они сидели и ждали. И как только двинулись первые ручьи, птицы полетели на места гнездований, дети пустились тоже на север искать родного отца.

Они глядели в окна и засыпали, и опять просыпались, глядели и опять засыпали.

Скоро леса начались и пошли на север почти рядом с поездом. Стало понятно, почему почти каждое лето под городом Переславлем-Залесским в его малинниках показывается медведь и так страшно пугает наших женщин, собирающих малину. Медведь идет сюда с севера сплошными лесами, обходя светлые места редких городов, сел и деревень. Ничего нет в этом удивительного: дорога медведя большая, широкая, зеленая, а дом, его теплая шуба, с ним тоже идет...

Вспомнив родного медведя, ребята опять засыпают, и опять, очнувшись, сквозь окно глядят в далекие леса, как будто они там оставили что-то самое дорогое и теперь стремятся к нему.

Так им, бедным, пришлось, что в лесах далеко где-то затерялся и их родной отец. Но что потеряли мы все в этих лесах, когда сами с какого-нибудь лесного холма глядим в зеленые и синие голубеющие дали, и так тянет, тянет там далеко походить, поискать чего-то?...

С древних времен вырубаясь из леса на свет в поля, что это мы, потомки славян, оставили там в диких лесах, что мы там забыли, почему нас всех тянет в эту девственную природу, никогда не знавшую ни пилы, ни топора человека?

Да и есть ли еще такие леса? И почему так хочется, чтобы они были, и кажется, будто все мы там, как дети, оставили своего родного отца.

Всего только сутки какие-то проехали дети на поезде, а сколько лесов прошло, сколько было в них деревень, сел, и наконец одним ранним утром пришел большой город – Вологда.

– Настя, – сказала проводница, – буди Митрашу! Что это вы заспались? Я же с вечера говорила, Вологда рано будет.

И стала помогать Насте складываться.

Так вот и приехали. Из вагона вышел Митраша с большим мешком за спиной и с отцовским длинным ружьем. Рядом с мальчиком шла золотистая девочка Настя тоже с мешком и с небольшой свернутой палаткой.

Ребята вышли и сразу заметили перемену в природе: в Переславле шоколадные почки на березах были с зелеными хвостиками и такие густые, что в почках этих птица скрывалась от глаз. Тут никаких хвостиков не было, на берегу реки Вологды еще лежал снег, река только что освободилась ото льда, но из берегов вода еще не выходила.

– Ты заметила, Настя, – сказал Митраша, – тут у березовых почек еще нет зеленых хвостиков.

– Почки, – ответила Настя, – боятся мороза. Может быть, они тут и были, но пришел мороз, и они спрятались.

Митраша снисходительно улыбнулся сестре:

– Так не бывает, где ты видела, чтобы почки раскрытые опять закрывались? Это ты с людей берешь: у людей – показались и спрятались, а у них только раз бывает: показался на свет и в почку назад не вернешься. Нет! тут они еще не показывались, и оттого, что мы едем на

север. Ты замечай, такого у нас много будет, такое увидим, такое узнаем, чего у нас не было и не будет!

Теперь пришло время Насте, маленькой женщине, улыбнуться на мальчика. Сказать она не собралась, но про себя подумала: «Искать отца – это дело, но гоняться за тем, чего не было – это пустяки, и об этом нечего и говорить».

Так они перешли привокзальную площадь и остановились. Митраша вынул из кармана план, начерченный ему Фокиным, и разостлав его на коленке, стал раздумывать, в какую улицу им свернуть.

В это время постовой милиционер внимательно приглядывался к детям. То ли он умолился стоять и не на что было глядеть, то ли и правда ему было дивно видеть мальчика с таким огромным ружьем и девочку, похожую на водяную курочку на длинных ногах.

– А ну-ка, охотник, – подмигнул он весело Митраше, – права-то у тебя имеются?

Митраша не ответил на улыбку и серьезно, даже с оттенком важности сказал:

– Права? Вот наши права.

И подал милиционеру сложенную и перевязанную ниточкой газету. Из газеты вышел пакет. Из пакета – бумага с печатью.

Бумага была адресована Вологодскому Завгороно, и в ней подробно описано положение сирот, с просьбой помочь им доехать до Пинеги.

Удивительного милиционеру в этом ничего не было: мало ли теперь в военное время кто кого ищет.

«Вы круглые сироты?» – хотел спросить милиционер, но по ошибке спросил:

– Вы голые сироты?

– Какие же мы голые, – сердито, сказал Митраша, – мы одеты, обуты.

– Я вас спрашиваю: матери у вас тоже нет, и если ни отца ни матери, то, значит, вы сироты круглые. Понятно?

– Круглые! – повторил Митраша. – А ты сказал: голые.

Тут маленькая женщина поняла, что милиционер им будет полезен и нельзя с ним обходиться по-митрашиному резко.

– Да, дяденька, – сказала Настя жалостливо, – нам сказали, что отец убит, и мать, услышав это, умерла от горя. А теперь пришло письмо – вроде как бы и жив. Хорошие люди все нам помогают, и вы, дяденька, нам помогайте!

Подумав немного, может быть, о том самом, о чем Настя его попросила, милиционер сказал:

– А как у вас с деньгами, есть деньги?

– Есть! – сказал было Митраша.

Но Настя быстро перехватила его слова и ответила:

– Мало!

– Если мало, – сказал милиционер, – так зачем вам обращаться к Завгороно и беспокоить его в таком легком деле: круглым сиротам у нас везде помогут. А сейчас вода вас доставит даром на место. Поезжайте прямо на шуке!

Настя по голосу поняла милиционера, что он им серьезно хочет добра, и только ей надо было спросить, про какую шуку он говорит. Но вдруг Митраша как будто вырвался у нее из рук и заносчиво выпалил:

– Вот хорошо! Мы поедем на шуке, а ты поезжай за нами на окуне.

– Пацан! – строго и серьезно сказал милиционер. – Я, мой милый, не смеюсь, и ты не обижайся. Ведь я тоже с Пинеги, я сам тоже пинжак.

– Как пинжак? – оторопел Митраша.

– Дяденька, дорогой наш, – вцепилась Настя, – если ты с Пинеги, то помоги нам туда попасть!

– Да, детки, – отвечал милиционер, – я с Пинеги, и щука – не рыба, а это у нас особая сплотка леса зовется щукой. Шкуренные хлысты сейчас лежат на берегу, и бурлаки их между собою связывают. Получается щука, голова у нее и хвост, а посередине строится будка, и в ней сидят пинжаки.

По всем северным рекам бурлачат наши пинжаки. Пойдемте сейчас к реке, найдем щуку. У меня на реке все знакомые, даже родня. Я ведь сам тоже...

И милиционер опять назвал себя пинжаком.

Счастливо пришлось, что на смену милиционера как раз вовремя пришел другой и, узнав в чем дело, сказал:

– Пинжаков сейчас там полный берег, ты, Щуренок, поди, их проводи.

А река Вологда была тут совсем недалеко, средняя река вроде нашей реки Москвы, но, конечно, весной посильней. Весенняя вода еще только чуть коснулась шкуреного круглого леса на берегах. Но некоторые хлысты уже были тронуты водой и, желтые, плыли рядом с белыми гусями. Всюду на берегах люди возились с лесом, приготавливали его к сплаву.

Милиционер крикнул им сверху:

– Есть пинжаки?

– А как же? – ответили ему снизу. И показали готовую щуку.

– Там, – сказали, – в будке сейчас Мануйло из Журавлей.

– Мануйло! – обрадовался милиционер. – Он мне дядя.

Великан Мануйло, услышав эти слова, вышел из будки и, увидев милиционера с детьми, сказал:

– Здравствуй, Щуренок, куда тебя несет с детьми?

– К тебе, – ответил Щуренок.

– Идите ко мне, – сказал Мануйло, – будем чай пить.

И полез в будку обратно.

Разговор за чаем был про дела на Пинеге, о том, что Мануйло не хотели принимать в колхоз со своим путиком, но что он ходил в Москву, к Михаилу Ивановичу Калинин, и что он теперь войдет – ему можно теперь войти в колхоз со своим путиком.

– Как же так это у тебя вышло? – спросил Щуренок. – В колхоз и со своим путиком?

– Ничего тут нет удивительного: каждый в колхоз должен нести что-нибудь свое, и такой колхоз будет «Богач», а не «Бедняк», как у нас до сих пор называется.

Там над «Бедняком» посмеялись, и все поняли: я не для себя прошу, а для общего дела.

Щуренок покачал головой с большим удивлением и, подумав, сказал:

– Ты у нас, Мануйло, похож на медведя: первое, тем похож, что никому нельзя, а ему можно, и только за то, что медведь. Второе, тем похож, что когда он встает и выходит весной из берлоги, то подымет на задние лапы, померяется на первой елочке и делает загрыз. Так и ты встал и меряешься со всем колхозом.

– Давно ли, Щуренок, – ответил Мануйло, – ты со своего путика в милицию попал, и уже наши охотничьи приметы путаешь! Медведь делает на елке загрыз не когда встает из берлоги, а когда ложится на зиму.

– Так я это и хотел сказать, – засмеялся Щуренок, – медведь меряется, – когда ложится, а Мануйло меряется, когда встает: тем он от медведя и отличается.

Тут Митраша не выдержал и решился спросить:

– А для чего медведь меряется, когда ложится в берлогу?

– Это, – ответил Мануйло, – приглядываясь к Митраше, – медведь хочет заметить, сколько за зиму он подрастет.

– Значит, – сказал Митраша, – весной медведь еще раз меряется?

– Нет, – ответил Мануйло, – на зиму ложится медведь и с горя померяется, а когда придет весна, то обрадуется воле своей, встает и забывает померяться.

Мануйло, рассказывая о медведе, глаз не спускал с мальчика, Митраша ему напоминал кого-то, но кого, он вспомнить не мог.

– Вот что! – сказал он вдруг Щуренку. – Ты куда хочешь *плавить* детей?

– К нам, – ответил Щуренок, – на Пинегу, там у них раненый отец где-то в суземе.

– Отец? – сказал Мануйло. – Ну так что отец?

– Дети отца ищут: у них мать умерла.

– Мать померла, – повторил Мануйло, – так чего же отца-то искать? в свое время отец сам придет.

– Когда еще придет, когда еще война кончится, – ответил Щуренок. – Им одним без отца, без матери жить горько, взяли и собрались искать отца.

– А из какой же он местности?

– Из города Переславля-Залесского.

– Знаю, – сказал Мануйло, – хорошие там люди, со мной в госпитале один лежал – вот был человек! Это, он меня на путь поставил, он сказал: «Иди, Мануйло, к Калинину и не бойся, помни, ты со своим путиком за правдой идешь». И так оно точно и вышло, и я правду нашел.

– Правду нашел, – повторил Щуренок.

И засмеялся морщинами на щеках и возле губ.

– Тебе бы, – ответил Мануйло, – это не дивно бы слышать, ты же милиционер: на законе стоишь.

После чая Щуренок ушел. Мануйло сказал детям:

– Не горюйте, ребята. Взялись искать отца и найдете. Сузем наш чуткий. Будете спрашивать – и люди скажут. Сузем наш чуткий, порато чуткий: олень копытом наступит – и на том месте другая чем раньше травка растет. А человек слово земле скажет – и на том месте березка встанет.

– Не может быть! – сказал Митраша.

– А вот и было! – усмехнулся Мануйло. – Были у царя ослиные уши. И никто никому не смел сказать об этом. Вот один человек не мог вытерпеть, наклонился и земле перешепнул: «У нашего царя ослиные уши!»

Прошли годы, на том месте выросла березка.

Проезжал однажды мимо того места царь. Березка наклонилась к нему и шепнула: «У нашего царя ослиные уши!»

– Это сказка! – вскрикнул Митраша.

– В этой сказке есть правда: затем и сказка, чтоб правду найти, – ответил Мануйло. – Наш сузем чуткий. И где отдыхает человек, там всегда вырастает березка. – Придете к тому месту, где ваш отец отдыхал, и березка вам скажет, где ваш отец.

Было еще раз вечером, перед тем как спать ложиться.

Мануйло внимательно поглядел в глаза Митраше и чуть бы только – и вспомнил бы он друга своего Василия Веселкина, и понял бы, что эти дети – его. Вот бы обрадовался Мануйло, вот бы помог! Да он и не расстался бы с ними, он бы их к себе взял на свой путик, он бы повел их на Воронью пята и в самую бы Чащу доставил, в благодарность их отцу за совет его пойти к Михаилу Ивановичу.

Так, может быть, и все мы около правды истинной ходим и обходим ее: она тут рядом, ее можно рукой достать, – а нас направляют в какой-то сузем далеко, в дикий лес, спрашивать об отце какую-то березку...

Дети как легли, так и уснули, камушками. А Мануйло ночью отвязал канаты, подобрал их на плот, поработал рулем и отпустил шуку свою плыть по течению головой вперед.

Глава тринадцатая

Митраша с Настей выросли в Усолье и Москву никогда не видали. Сейчас тоже объехали Москву северным путем из Переславля через станцию Берендеево.

Во время войны в Усолье собирался народ по ночам на высокое место, смотрел на небо в сторону Москвы, и небо было в зареве, и какие-то страшные огни то вспыхивали, то потухали, и народ повторял одно зловещее слово:

– Бомбят!

А недавно в той стороне стали показывать другие огни, они высоко поднимались на темном небе: голубые, красные, зеленые, и сыпались разноцветными фонтанами вниз, и всем видно было – это огни радости, и люди весело повторяли:

– Победа! И все это горе и радость – в Москве, а самой Москвы не видать.

Вот отчего, с первых же слов Мануйлы, как только он сказал, что был у Калинина, Митраша подумал о нем с уважением: Мануйло видел Москву! Вот бы теперь узнать от него все о Москве: какая она сама, какие там люди и что они делают. И еще хорошо бы тоже узнать, как Мануйло в Москве достигал своего путика и что это за свои путики и какие они.

Утром, как только дети проснулись, Мануйло уже и рыбы поймал и наварил ухи и дожидался у теплинки, когда они встанут и будут с ним вместе уху хлебать.

За ухой Митраша подумал, что первое надо спросить о своем путике, а потом, как Мануйло его достигал.

– Что это: свой путик? – спросил Митраша.

– А у отца твоего разве не было, – ответил Мануйло. – Кто твой отец?

– Мой отец лесник.

– А если он лесник, – сказал Мануйло, – то как же ты ничего не знаешь о путиках?

– У нас на родине нет своих путиков, – сказал Митраша, – ты, дядя Мануйло, скажи нам, какой бывает свой путик, и как ты в Москве достигал своего путика, и какая Москва.

– Свой путик, ребята – сказал Мануйло, – долгий, он достается нам от отцов и дедов, и прадедов.

Путик у меня долгий, и на деревьях затесы: наше знамя охотничье делается одним рубышом и означает Волчий зуб.

Путик мой пересекает чужой путик, и на росошине у меня стоит знамя Волчий зуб.

Наше знамя на росошине означает мою сторону, мой полуденный ветер.

Знамя Волчий зуб означает: – Не ходи другой на мой ветер, на мой топор.

Знамя другого человека стоит на другой росошине и означает Воронью пятую и делается в три рубыша.

Знамя другого человека на росошине, означает: – Не ходи на мой ветер, на мою пятую, на мой топор.

Такой у нас в суземе закон: другой не ходи на мой топор!

Мануйло остановился и задумчиво глядел в глаза Митраши.

Было ему так, что с малолетства слышал про этот закон и думал о нем одно, что это верный, хороший и твердый закон. А вот теперь говорит, глядит в эти ясные большие серые глаза, и что-то ему чудится: где-то он видел эти глаза и что-то было такое, вроде бы кто против этого закона ему говорил.

И вот этот мальчик сейчас его спрашивает:

– Страшно у вас?

И на вопрос: «Чего страшно?» – отвечает:

– Тебе-то, дядя Мануйло, хорошо на путике, а другому страшно: вдруг нечаянно и попадешь как-нибудь на твой топор?

– Нечаянно можно, – ответил Мануйло, – нельзя только с умыслом. Так вот я вам рассказываю дальше:

На путике своем у корней дерева я вижу от солнца светлое пятнышко, насыпаю на это место песочку, и на том гуменце ставлю сильышко.

Откуда не посмотришь на сильышко – гуменце все бывает видко.

Глядит птица с высоты – и ей внизу гуменце видко.

Летит мимо птица, и ей гуменце мое вот как видко: и сверху, и снизу, и сбоку.

Все видко.

Птица в лесу любит песочек на солнышке, пуржится в нем, трепыхнется и попадается в сильышко.

И тут я иду, собираю дичь, и отец мой ходил по тому же путику, и дед, и прадед ходил, и у них всегда было одно знамя Волчий зуб. Теперь же пришло время, и с меня требуют, чтобы я свой путик отдал в колхоз, а меня назначат на чужой путик.

– Нет, – ответил я, – никто не может управлять моим путиком: у меня есть свои тайны, и я о них никому не скажу. Примите меня в колхоз со своим путиком.

Колхоз назывался «Бедняк», и им было завидко. Я же хотел им добра: не себе, а всем было бы мясо с моего путика. Но им было завидко, и они меня не приняли в колхоз со своим путиком. Живые помочи!

– А это что? – спросил Митраша.

– Ничего, – ответил Мануйло, – у нас полесники все так говорят, помогает... Так вот я дальше рассказываю:

Горько мне было на душе, когда я бурлачил в лесу этой зимой: от горя своего потерял я голову, и оттого упало на меня высокое дерево, и я тоже под ним упал на землю.

И тут вспомнилось Мануйле ясно, что был у него разговор с другим человеком о своем путике, и где именно: в госпитале с сержантом Веселкиным.

Теперь бы еще о глазах вспомнить, что там же он и видел такие глаза, как у Митраши, и спросить сироту о том, как звали его раненого отца. Но как раз в это время над самой рекой бреющим полетом пролетел с грозным шумом самолет и вышиб из головы Мануйлы нарастающее внимание к человеку.

Он продолжал о своем путике:

– Потерял голову! – дивился Митраша.

– Ну да! – ходил, как в тумане, все равно, что не было у меня головы, и я не мог услышать, скоро обернуться, увидеть, увернуться: я потерял голову – и дерево упало на меня.

Мне было на душе горько: я не мог жить без людей и не мог жить без своего путика. – Прощайте! – сказал я.

Но меня подняли и в больнице выходили. И один человек, самый хороший, какого я только видал на свете, послал меня в Москву искать правды.

– Бедный Мануйло! – сказала Настя, и глаза ее, большие, темные, заблестели от слез, как ягоды блестят на дожде.

Не пожалей Настя Мануйло, очень может быть, Мануйло и стал бы расспрашивать у Митраши про отца, и так бы все и дошли до правды. Но Мануйло заметил, какой милой от слез сделалась девочка, и своей огромной ладонью погладил ее золотистые волосы.

– Ты не меня жалеешь, а наш колхоз, недаром же он сам себя назвал «Бедняком». Мне же, деточка, везде хорошо: что ни задумаю, мне во всем счастье. И об одном я горюю, что люди не хотят брать свое счастье и похваляются своей беднотой.

– Дядя Мануйло, – сказал Митраша, – не надо больше про колхоз «Бедняк» и про путик, расскажи нам, что это за Москва, и какая она, на что похожа?

– Москва ни на что не похожа, – ответил Мануйло. – Большой дом и много окон: десять, двадцать, может сто. А над этим большим домом построен другой большой дом, и тоже все

окна и окна: не пересчитать. Над этим вторым домом сверху третий такой же, и опять все окна и окна, и опять вверх. Есть дома в двадцать домов и вверх.

А к этому дому рядом примазан другой такой же, с другим смазан третий, и так целая улица.

И тоже улица – не улица, как ручей – не река. Улицы, как речки, вливаются в большую реку, и по ней течет не вода, а народ.

Вот иду я, иду, и нигде мне самому ничего не видно, только все люди и люди, как льдины в ледоход.

Иду я, иду, и ничего мне самому не слышно: все везде кругом гудит, стучит, звенит и огнями играет: и красными, и зелеными, и желтыми.

Иду я иду, и вижу перед собой великий мост через реку выгнулся и повис, по мосту люди идут тесно по той и по другой стороне. А по середине машины, много машин, как жуки: и черные, и синие, и разные. А под мостом внизу по реке идут пароходы по воде, а по берегам реки – опять машины. Только по мосту они ползут нешибко, как жуки по земле, а там они летят, как жук по воздуху, и гудят.

Иду по мосту, на ту сторону, гляжу на пароход, и мне мнится, будто не пароход идет, а мост подо мною идет.

Голова кружится!

Иду я и не смотрю больше на пароход, и голова у меня больше не кружится и будто стала на свое место. Все впереди видно мне опять.

Вот на той стороне дом великий, а на дворе уже темнеет, и в том великом доме загораются огни: один огонек, другой, третий, и пошло, и пошло; не счесть, сколько огней!

Я больше не иду, а как стал на мосту, так и стою, и смотрю, когда вовсе стемнеет, и все огни загорятся.

Много огней в доме загорелось, и от низу и до верху в окнах все видно.

Там укладывает мать, вся в белом, маленьких детей в кровати.

Там умываются.

А там – пьют вино.

А еще повыше – двое так сидят.

И все внизу видно, и только невидно, где окна завешаны...

А в одном окне мальчик сидит за столом, пишет, читает, губками перебирает, себе помогает, весь кудрявенький, хорошенький, а лампа зеленая.

Гляжу я на мальчика под зеленой лампой и забыл про себя, что я приехал в Москву, и куда мне идти, и что мне делать.

Стою спиной у железной решетки и гляжу туда на огни. Сам не вижу и не знаю, кто проходит, кто стоит возле меня и на меня глядит.

Вдруг человек хорошего вида, немолодой-нестарый, из-под руки меня спрашивает ласково:

– Скажи, друг, откуда ты к нам пожаловал?

– С Пинеги, – отвечаю, – мы пинжаки.

– Оно и видно, – говорит, – издалека приехал. Похоже, еще и не устроился нигде. Чего же ты тут так долго стоишь и глядишь. Что ты видишь?

– Мне, – говорю, – вон тот мальчик полюбился под зеленой лампой: сидит, пишет, читает, губками себе помогает, какие веселые волосы. Не можешь ли мне сказать, кто этот мальчик у вас?

Засмеялся неизвестный человек на мои слова и говорит:

– Мальчик этот у нас, это вернее всего – новый Пушкин родился. Мы ждем от него, чтобы он так сказал о правде, чтобы все ее поняли и чтобы весь свет пошел за нашей правдой. Вот мы какие, вот какой у нас мальчик! Слыхал, – спрашивает, про Пушкина?

– Нет, – отвечаю, – человек я – северный, бурлак и охотник, сказки сам рассказываю, а про Пушкина, может, и слышал, да к чему он – не понимаю. Сделай милость, расскажи!

– Пушкин, – говорит, – был человек замечательный: он говорил только правду. Мы все ждем, чтобы он опять родился: вот, может быть, этот мальчик и есть новый Пушкин.

Тут я понял, что он это пошутил: не может человек два раза родиться. Но мне понравилось, как он сказал: мне самому тоже хочется в своих сказках правду рассказывать.

– Милый ты мой, – говорю я, и радуюсь, и прошу его: – друг, давай где-нибудь посидим, – поговорим.

И показываю ему в окно на тех двух в окошке, что вот уже час или более так сидят, ничего не делают и между собой неслышно говорят.

– Можно! – отвечает мне мой друг.

И повел меня опять назад через тот великий мост.

Ну вот, пришли, мы в другой большой дом, там все сидели, ели, пили, и мы сели за столик одни. Он меня накормил и сам немного отведал, а потом спрашивал и записывал, и так-то ему это понравилось, когда я ему рассказал, что приехал в Москву просить, чтобы приняли меня в колхоз со своим путиком.

– Счастливый, ты, – говорит, – человек!

– Это, – говорю, – я знаю.

– Нет, в том счастливый ты, – говорит, – человек, что на меня напал!

Так сложил он свои бумажки, заплатил по счету и велел вызвать машину.

Сели мы в машину и поехали скоро, вся Москва со всеми огнями за нами гонится и не может догнать.

– Хороша, – говорю, – Москва!

А он мне:

– Да и ты хорош!

Так приехали мы в общежитие, и тут велено мне было жить спокойно и ждать, когда меня позовут. Прощаясь, друг мне еще раз сказал:

– Счастлив, что напал на меня.

И назвался Иваном Егорычем.

Ну, хорошо! Рано утром я просыпаюсь на белой постели, а вокруг все до одного человека спят. Слышу: внизу где-то люди шумят, покрикивают, скребут и машины гудят и шуршат.

– Что бы это было такое?

А кругом меня человек к человеку спят на белых простынях.

Спросить некого.

Вижу, кот сидит на окне и тоже вроде меня слышит и тревожится: что бы это было такое?

Окно все голубеет, все светлеет. Кот что-то по-своему понял, сел на задние лапки, поднялся и передними двумя, часто перебирая, начинает драть по мороженому стеклу.

Драл-драл, и ему стало видко.

Видит кот, галки летят, много летит галок, и он мордочкой ведет в их сторону:

Галки прямо – и кот прямо, галки вбок – и кот вбок, галки вправо, галки влево: куда галки – туда кот.

Подхожу и я сам к окну. Живые помочи!

Полна улица людей, и все с лопатами. Машины приходят, машины уходят. Приходят машины пустые, уходят – полны снега.

Все работают, улицу очищают, снег накладывают.

Чем думаю, я-то плох? Потихоньку оделся, спускаюсь с лестницы и спрашиваю у людей:

– Что вы делаете?

А они мне весело отвечают:

– Весну делаем!

Чем же, думаю, я-то плох? Беру себе лопату в руки...

Так у них в Москве: головой работают больше по ночам, и эти – по утрам долго спят.

А кто руками, так еще начинают работать в темноте, как и у нас, на Пинеге. И я с теми каждый день в темноте начинаю, в темноте и кончаю.

Так у нас все скоро вышло: весну в Москве сделали.

Хорошо весну сделали мы: ни одного пятнышка белого. А когда снегу не стало – что делать солнцу? Сушить улицу. Сушит оно и играет цветными платочками на головах. Любо!

Первые дни меня в общежитии спрашивали:

– Что ты делаешь?

А я в ответ:

– Весну делаю!

А они мне:

– Ты что же, в дворниках, или в трест по очистке нанялся?

А я им:

– Нет, я это не задаром в Москве хлеб ем.

С тем они от меня и отошли.

Потом вдруг приходит машина и говорят мне:

– За тобой!

И повезли меня к Калинин.

Часть пятая

Утиная вечерка

Глава четырнадцатая

Бывает, в бору у какой-нибудь золотисто-рыжей сосны из белого соснового тела выпадет сучок. Пройдет год или два, и эту глубокую дырочку оглядит зарянка, маленькая птичка точно такого же цвета, как золотисто-рыжая кора у сосны. Эта птичка натаскает в пустой сучок перышков, сенца, пуха, прутиков, устроит себе теплое гнездышко в пустом сучке, потом выпрыгнет на веточки и запоеет.

И так начинает птичка весну.

Через какое-то время, а то и прямо тут вслед за птичкой приходит охотник и останавливается у этого самого дерева в ожидании вечерней зари.

Вот где-то, с какой-то высоты на холме, певчий дрозд первый увидел признаки вечерней зари и просвистел свой сигнал. На этот сигнал отозвалась зарянка и вылетела из пустого сучка, и, прыгая с сучка на сучок выше и выше, оттуда сверху тоже увидала зарю, и на сигнал певчего дрозда ответила своим сигналом.

Охотник, конечно, слышал сигнал дрозда и видел, как по сигналу вылетела зарянка. Он даже заметил, что зарянка, маленькая птичка, открыла свой клювик, но что она пикнула – он не слышал: голос маленькой птички не дошел до земли.

Птицы уже начали славить зарю, а человеку внизу зари не было видно.

Но пришло время, над всем лесом встала зоря, и охотник увидал: высоко на сучке птичка свой клювик то открывает, то закрывает.

Это зарянка поет, зарянка славит зарю, но песни ее человеку не слышно.

Охотник все так понимает, по-своему, что зарянка славит зарю, а отчего ему ее песню не слышно – это оттого, что зарянка поет, чтобы славить зарю, а не чтобы самой славиться перед людьми.

И вот мы считаем, что как только человек подумал об этом, чтобы ему тоже так хорошо было, чтобы ему славить зарю, а не чтобы зарей самому славиться, так и начинается весна самого человека.

Все наши настоящие любители-охотники, от самого маленького и простого человека до самого большого, только тем и дышат, чтобы прославить весну, а не самому весною прославиться.

И сколько таких хороших людей есть на свете и никто из них сам не знает о себе, и так все привыкнут к нему, что никто и не догадывается о нем, что он хорош, что он для того только и существует на свете, чтобы славить зарю и начинать собой такую хорошую весну человека.

Вот тоже и у нас в Вологде на самом берегу реки жил такой плотник Федор Силыч. Как все плотники, он работал всегда молча, но если станешь ему рассказывать о чем-нибудь, то слушает охотно, не говорит даже ни да и ни нет, а только улыбается и, насколько ему можно оторваться от топора или рубанка, поглядывает понимающим глазом. Самому себе всегда кажется, будто разговор с ним идет ему впрок, и оттого так скоро между ним и тобой вырастает целая большая пахучая гора стружек.

А когда отойдешь от него, то всегда думаешь: а не пойти ли самому в плотники, не заделаться ли самому столяром?

Когда Силыч сильно стал стареть и вертеть бревнами стало ему нелегко, он перешел на столярные работы, и на этом деле он и свил себе такое же гнездышко незаметное, как свивает

зарянка в пустом сучку. Силычу на своем деле удалось послужить хорошо, и всякий вологодский охотник поминает его добром.

Бывало, Силыч работает, а дорога уже подопревает, рыжая по белому, и в душе охотника начинает мутить, и тянет куда-то. Вот и скажешь:

– Силыч! А дорога-то подопревает...

Он улыбнется, поглядит то на дорогу, то на тебя.

– Ты знаешь, Силыч! – скажешь ему, – охотничья душа начинается от разлуки, что-то мы с тобой потеряли в лесах и в болотах, к чему-то так теперь тянет.

Он улыбается.

Каждую весну мы так начинаем, и наконец лет уже тридцать, а может быть, даже и сорок Силыч, услышав о разлуке, бросил обычную работу и начал делать что-то другое и стал на долгое время каким-то другим человеком и рассказы всякие слушал рассеянно.

Так родился наш замечательный вологодский ялик из мысли этого скромного человека о разлуке и твердом своем решении соединить разлученного городского человека с природой.

Не знаю, конечно, свет велик, и может быть, где-нибудь делают охотничьи ялики лучше нашего, но нам ялики Силыча всем так прижились по душе, что кажется, будто лучше яликов Силыча не было и нет ничего лучше на свете.

Сколько людей было, что вовсе ружья никогда в руках не держали, а как поглядит на ялик Силыча, так закажет себе, а как проедется, так ружьишко достанет и начнет, из своего собственного ялика, как птичка из пустого сучка славить зарю...

Эта знаменитая лодка делается из двойной фанеры, и оттого она такая легкая, что одному легко можно ее перетащить с одной речки в другую. На ней есть и палуба, чтобы в непогоду забраться, закрыть за собой отверстие, и в бурю, и дождь, и холод быть, как у себя дома.

Мало того! захочется подышать свежим воздухом, или в ветер и дождь чаю сварить, или жирную утку зажарить на примусе, то отверстие прикрывается особой маленькой палаткой. А по бортам ялика частые гнезда, в них вставляются ветки, и ялик обращается в плавающий шалаш.

Умеючи обращаясь с веслом, можно на близкий выстрел подплывать к уткам, гусям, лебедям. А если ветер походный, то есть гнездо для мачты, можно парус поставить и на легком ялике птицей мчаться по ветру.

Несет ветер вперед на воду – воде нет конца, мчись водой хоть в Северную Двину, хоть в Белое море, хоть в Ледовитый океан...

Прощайте, домашние люди, я мчусь в океан!

Несет ветер домой, тоже как хорошо!

Здравствуйте, милые люди мои и мой любимый труд!

Удивляются и смеются люди со стороны на взрослых людей, даже и на стариков, что они все свое свободное время проводят на яликах, смеются и не понимают того, что это новый человек возвращает себе древнюю силу природы.

Так вот оно и вышло, что от разговоров о разлуке человека с природой наш Силыч перешел к делу и за долгую жизнь свою создал целый флот охотников на вологодских яликах.

Где теперь эти охотники? Один где-нибудь в ночное время на постройке плотины для перехода своей части на ту сторону задержал собственным телом прорыв ледяной струи, другой, может быть, телом своим закрыл пулемет, третьему посчастливилось: сидит у огня и пишет жене, чтобы берегла в сарае его ялик, и хорошо, если она у шофера достанет отработанного масла и на всякий случай промажет им весь ялик.

Все здоровые охотники теперь на войне, весь флот Силыча теперь у жен под замком, и остались охотники теперь одни только те, кому нельзя на войну: люди они хорошие, как и все, только негодны оказались для войны и оттого их зовут негодниками.

Из негодников первые охотники, спорить об этом никто не станет, это, конечно, братки, два одинаковых брата – Петр и Павел. До того братки друг на друга похожи, что узнать верно,

кто у них Петр и кто Павел, можно только, когда они рядом. Но хорошо, что никогда и нельзя увидеть их отдельно. От рождения Петр был совершенно глухой, а Павел слепой, но зато глухой Петр имел такое острое зрение, что видел, говорят все, вдвое дальше среднего человека, а слепой Павел слышал вдвое против среднего человека.

Вот почему всегда так бывало, что когда слепой Павел издали услышит такое, чего средний человек еще слышать не может, то, почуяв движение брата, глухой Петр повертывает туда голову и видит такое, что для среднего человека еще совершенно невидимо.

А еще у братков то замечательно и всем тоже известно в Вологде, что они могут говорить только правду и ни разу никого в жизни своей не обманывали.

Иные слабые люди у нас до того изверились в правде, что в Вологде всюду в привычку вошло отвечать на всякий обман тем, что правды вовсе и нет на свете, что правда только у Петра да у Павла.

А есть и такие, по-нашему – совсем негодные, до того изверились, что не удивляются даже и на Петра и на Павла и говорят, будто оттого у них и правда, что слепой и глухой не умеют между собой сговориться, чтобы обманывать.

Братки служили на одной должности повара на железной дороге, и вологодский буфет далеко славился по всей Северной дороге их пирожками, жареной дичью и гарнирами. Когда поезд подкатывал, то люди, даже и сытые, выходили попробовать знаменитых пирожков и всегда при этом дивились на двух граждан, соединенных поневоле в одного повара.

Дивились, что два обиженных природой человека, соединенные в одного, работали, пожалуй что, лучше, чем два несоединенных нормальных. И некоторые высказывали:

– Вот бы всем так!

Но тут же с горечью вспоминали, что Павел был слепой, а Петр глухой, всем же хотелось непременно и видеть и слышать.

Покушав пирожков, с этим примером все уезжали, но мало кто знал о братках самое удивительное, о чем знали только мы, кровные вологодские охотники. Братки у нас в городе были самые замечательные охотники, и глухарей они всегда приносили много больше охотников с полноценным зрением и слухом.

Все было в том, что глухарь поет очень тихо и успех зависит много от того, кто раньше других глухаря слышит. Раньше всех, конечно, слышал глухаря в лесу слепой Павел и, слышав песню, хватал братка за руку и скакал с ним к глухарям.

И вторая причина успеха в этой охоте была оттого, кто раньше во мраке рассвета разглядит среди ветвей птицу. На это был мастером глухой Петр: завидев глухаря, когда еще никто не мог видеть, Петр останавливал Павла и глядел то на глухаря, то на брата. По уговору слепой Павел трогал Петра за левое плечо, когда глухарь начинал песню, и Петр под песню стрелял.

Так вот все со смехом в Вологде говорили, что правда только у Петра да у Павла; а на службе у братков выходили славные пирожки, и на охоте птиц у них всегда больше всех. Осенью поздней, когда утки жирные и захочется кому-нибудь покушать, то с этим желанием безошибочно можно бывает пристать только к ялику братков: они всегда накормят, когда уткой, когда гусем, а случится – даже и лебедем.

Все эти охотники, и сам Силыч, и братки, и еще, хоть и мало оставалось из-за войны, привыкли каждый год, когда Мануйло отправлялся на щуке, тоже к этому дню начинать свой отпуск и садиться в ялики.

Стар стал к этой весне Силыч, до того стар, что никак и не чаял на своем десятом десятке и эту весну, как всегда, встречать на воде. Даже и утке-то его подсадной Маруське пошел восемнадцатый год. Про утку не думал, что доживет. И кто бы ни поглядел и на охотника и на утку, никто бы не поверил, что оба они встретят еще одну весну на воде.

Но закричала Маруська, почуяв весну, и Силыч, услышав утку, перемог свои ревматизмы, собрался и поплыл вслед за Мануйлой.

А за Силычем собрались в ту же ночь и братки.

Нельзя пересказать о всех вологодских негодниках, но нельзя никак забыть Журавля.

Мы знали, еще когда он жил в своем маленьком глинобитном домике на болотах в присухонской низине, в свое время, по молодости, он поверил в такую мечту, чтобы жить только охотой.

Дичи так много бывает на присухонской низине, что он захотел устроиться прямо на болоте в комарах и даже сманил на эту особенную жизнь одну вологодскую девушку.

Скоро жена испугалась этой жизни в болотах и убежала обратно в Вологду. Что ее испугало?

Разве мало рыбы в Сухоне, и в Леже, и в Вологде? Мало ли уток выводится, и гусей пролетает, и лебедей? А боровая дичь когда весной подымает свой голос, так и кажется, будто весь горизонт кругом заговорил!

Нет, конечно, голодной на присухонской низине не могла быть жена Журавля. Ошибка его расчета была в том, что охота его была не в том только, чтобы убить, – это было самое последнее. Его любительская охота была в чем-то совсем непитательном, как тоже и девушка городская искала общества, а муж угощал её тетеревами и утками.

Вот она от него и ушла.

После ухода жены охотник еще долго жил в мазанке, и все мы его знали.

Бывало, прилетят на присухонскую низину в великом множестве журавли, погавкают весной, пошумят, покричат и разбиваются на пары, и этими парами скрываются в болотных зарослях. Каждой весной появляется на пойме один какой-нибудь одинокий журавль, он не прячется, а ходит по лугам с утра до ночи и не трубят, как трубят все журавли, а свистит.

– Чего он свистит? – спрашивают люди прохожие местных.

– Наверно, – отвечают, – пары не может себе подобрать!

И указывают на мазанку одинокого охотника на пойме.

И так говорят:

– Вот тоже был человек, жил – распевал, а как жена его оставила, он теперь тоже свистит...

Если же время придет такое суровое, что спрячется в зарослях даже и тот одинокий журавль, то разговор бывает иной:

– Кто, – спрашивают, – живет на болоте в таком маленьком мазаном домике?

– Одинокий человек, – отвечают, – по прозвищу Журавль.

– А почему он «Журавль»?

На этот вопрос местные люди охотно рассказывают о том одиноком журавле, что не трубят, когда все трубят о победе весны, а только свистит.

Все, однако, кончилось счастливо тем, что умерла старушка – теща Журавля, и жена возвратила мужа с болота к себе в Вологду на свою жилплощадь. Все и кончилось тем, что Журавль сделался шорником и завел себе охотничий ялик.

Другой охотник, по прозвищу Длинный чулок, тоже когда-то мечтал заниматься охотой, как делом, но поглядел на судьбу Журавля и купил себе во время нэпа чулочную машину.

Случилось однажды, загорелась в Вологде деревянная слободка, и все бросились бежать из своих домиков и спасать вещи. Тоже и чулочник бросился со всеми со своей машиной, и за ним кишкой через всю улицу тянулся неразрезанный чулок.

Тут-то все и увидели, и многие поняли это в первый раз, что чулок в своем происхождении бывает един и делается как бы на ногу всего единого человека. Это всех так удивило, что чулочника с тех пор стали звать «Длинный чулок». Вскоре, однако, он свою машину забросил и вернулся к любимой охоте, но прозвище за ним так чулком и тянулось.

Вот и этот Длинный чулок был охотник неплохой и тем же охотничьим чутьем почуял утиный пролет и выехал на своем ялике. Еще несколько охотников с броней было с лесной биржи, несколько новых инвалидов Отечественной войны...

Раньше всех отчалил Мануйло, но, конечно, его шука не могла без помощи весел двигаться так же скоро, как легкие ялики. Вот отчего среди ночи Силыч первый нагнал шуку. Вода немного отсвечивала даже и ночью, и Силыч даже в темноте узнал в огромной фигуре у руля Мануйлу.

– Здорово, пинжак, – сказал он, – ты куда это плавишь шуку?

Мануйло дремал у руля и не сразу узнал Силыча, да к тому же они давно не встречались, и Мануйло думал, старик уже давно на том свете живет. Когда же он взглянул, опаматовался, узнал, то в глубоком изумлении воскликнул:

– Живые помочи! ведь это ты, Силыч!

И заставил Силыча вылезти к нему на шуку.

С трудом, из-за проклятой спины, выкарабкался Силыч на шуку, а ялик его Мануйло переставил с воды на шуку, как коробочку из-под спичек.

– Ай да дед! – сказал весело Мануйло старинному охотнику. – Всё живешь – не сдаешь. Сколько же у тебя, Силыч, из рубля вышло копеек?

И как рыбак рыбака, так и охотник сразу понял охотника:

– До рубля, – ответил он, – осталось мне семь копеечек.

И это означало, что Силычу теперь было девяносто три года.

– А сколько старухе твоей? – спросил Мануйло, поглядев на его утку.

– Маруське, – ответил Силыч, – пошел восемнадцатый год.

Другие охотники, перегоняя шуку, узнавали Силыча, и сами, конечно, просились на шуку.

– Живые помочи! – повторял Мануйло, помогая тому и другому выбраться на шуку.

Так еще до рассвета собрались славно все вместе с Мануйлой на шуке наши лучшие охотники: старый Силыч, братки, Журавль и Длинный чулок.

Всех их Мануйло предупредил, что он плавит детей, и они сейчас тут спят у него. Стараясь не шуметь, не смеяться, не будить детей, охотники поджались, замолкли и на заре все прикорнули.

Мы знаем, как хорошо им всем было: сами в молодости немало поплавали.

Глава пятнадцатая

Река Вологда впадает в реку Сухону, а с другой стороны, почти напротив, впадает в Сухону река Лежа. Неподалеку на присухонской низине есть никогда не затопляемый весенней водой холм Выгор, и с него все три наши реки – как на ладони.

Выгор – место весенних утиных охот.

Этой весной все эти реки прошли на очень низком горизонте, оттого захватили на молевой сплав только ближайшие к воде хлысты. Теперь редкая желтая моль из этих хлыстов плыла по Сухоне в сторону Северной Двины, изредка потукивая в бока буксирных маленьких пароходов.

Всю зиму люди работали, окатывая срубленный и ошкуренный лес к берегам рек. Но только самая малая часть этого круглого леса была захвачена первой весенней водой. В лесах еще полным-полно снега, и та сплавная весна, настоящая весна воды для бассейна Северной Двины еще не пришла.

Но скорей всего дело было так близко к половодью, что охотники, чуя, как животные по запаху болот, приближение последнего часа зимы, при встрече делились этой радостью и говорили друг другу:

– Часом все кончится!

Напряжение этого часа в душе охотника бывает так велико, что им на сторону и смотреть нечего, они чувствуют по себе приближение этого великого начала весны – воды.

Рассказывая, мы вот тоже вспоминаем, как было раз в молодости, в одиночной камере политического заключенного: нам с соседом по камерам в тюрьме так запахло болотом. Какой это был чудесный запах!

И потом явственно в закрытых глазах показалось болото с кочками, обтаявшими на солнце. Такие видения бывают в одиночном заключении. Тоненьким зеркальцем была окружена в этом видении каждая кочка, и тяжелая кряква, переваливаясь с боку на бок, несмело переходила с кочки на кочку по неверному льду.

Не знаю никаких на свете приманок жизни чудеснее видения такого болота в тюрьме!

И вдруг товарищ, тоже страстный охотник, заключенный в соседней камере, выстукивает в стенку слова:

«Зима теперь часом кончится!»

И оказалось, что и ему тоже запахло собой весеннее болото, и он тоже вспомнил свою крякву на тоненьком льду между кочками.

Много не настучишься в тюрьме – надзиратель заглянет в дырочку и заругается, только и было сказано, что – часом все кончится.

– Мы были уверены, что это так из тюрьмы хорошо показалось болото и является прелестью, чтобы нас мучить в тюрьме, и после, как выпустят, все пройдет непременно, как сон.

И вот нет! из шалаша глядеть на болото оказывается еще лучше, и так оно пошло на всю жизнь.

Сколько раз, тоже из шалаша, мы своими глазами видели, что кряква иногда ошибается: бывает, и оскользнется и провалится, и так это было чудесно посмеяться вместе, и какие это милые люди, охотники, что могут в шалаше посмеяться над кряквой!

Как раз вот так и было в болотах на присухонской низине, когда Мануйло вывел свою щуку в реку Сухону. Кочки были окружены тонким зеркалом льда. А потом, когда солнце расправилось со льдом, вдруг, в какой-то час это сделалось: на каждой кочке сидела раздумчивая птица с большими черными глазами и длинным носом.

Чудесная картина! Кажется, это не просто известные птицы, а само болото очнулось, и так по-своему думает. Так понемногу и тебя втягивает болото в раздумье. И в болоте, кажется тогда, вовсе и нет времени, и время как-то уходит из-под души, и счет исчез.

Не сразу хватишься, одумаешься, придешь в себя и начнешь разбирать все по-своему.

Тут и большие кулики сидят, самые большие – кроншнепы, к лесам поближе сидят вдвое меньше кроншнепов вальдшнепы, вдвое меньше этих сидят дупеля, вдвое мельче дупелей – божий баран.

А еще меньше барана или бекаса, совсем каплюшка с воробья – гаршнеп: сам, правда, не больше воробья, а нос длинный, и в ночных раздумчивых глазах общая вековечная и напрасная попытка всех болот что-то вспомнить.

Вот она, эта попытка что-то вспомнить, повторяется бесконечно и переходит от кочки к кочке, от птицы до птицы.

– На веках это было, на веках это было, на веках это было...

Отчего-то становится грустно и даже жалко их всех, и в ответ на их слова о том, что на веках все это было, с досадой скажешь:

– Все было и было, да скажите хоть одно слово о том, что оно было-то?

И вдруг все откроется: все эти птицы и кочки болотные, как были, так и остались в былом, а я с малолетства оторвался от них и стремительно мчусь к небывалому.

Они весной летели вперед и прилетели на места гнездований, где они были. Я же человек, и у меня впереди – небывалое!

Дело Мануйлы было самосплавом довести шуку по течению до того места, где сходятся все три реки: Сухона, Лежа и Вологда, и тут у лесной биржи на Леже дожидаться буксирного парохода и отправить с ним шуку вверх по Сухоне на известный завод «Сокол» на Кубенском озере.

Для того и сплавивается лес шукой, чтобы он легче шел против течения.

Счастливым вышло, что буксир как раз тут и был на Леже и поджидал шуку. Мануйло тут же и сдал ее и, свободный, вместе с охотниками и ребятами вышел на Выгор.

Между охотниками с детьми теперь выходило, как и у нас в былое время в больших семьях в гостях: поглядят на тебя старшие одну минуту и забудут тебя, и ты живешь себе у чужих сразу как дома.

Особенно же хорошо было детям с Мануйлой. Познакомился он с ними, наговорил им всего от себя, и стало, как будто он что-то посеял и посеянное оставил с заветом: «Сами растите и радуйтесь!»

Время уж близилось к вечерней охоте, все большие и малые охотники бросились устраивать себе шалаши.

Присухонская низина, можно сказать, так и создавалась для встречи охотников с утками и для редкостных теперь уже в других местах дупелиных токов, тех самых, когда охотники, поняв места тока, днем ставят на нем зажженный фонарик. В темноте дупеля, собираясь на ток, почему-то теснятся к фонарику, и охотники стреляют по огоньку.

В особенности пришелся к сухонской долине незатопляемый холм Выгор. В ольховых зарослях тут есть и елочки, чтобы взять с них лапнику на шалаши, есть гибкая ива, черемуха. Все с годами, конечно, сильно пощипано, зато на самой низине остается множество жердей от стогов сена, да тоже в тех же одоньях немало бывает и сена для спокойного спанья в шалаше.

За много лет у каждого охотника, конечно, определилось свое любимое место на Выгоре, и Силыч, пожалуй, не меньше как лет уже сорок ставил на одном и том же месте свой утиный шалаш.

Ни одного лишнего шага, ни одного случайного движения руки, и оттого у старого человека хватает силенки, чтобы и в эту весну устроить себе все ладно и добыть своего весеннего селезня, как и в молодости.

Каких только болей нет в старых костях: и нытье, и ломота, и всякие внезапные схватки, пронзительные прострелы. Но долгая жизнь против всего этого находит защиту. И никаких болей не боится Силыч, а такого боится, что приходит без всякой боли.

— Бывает, вечером, когда наступит желанная минута и на светлой воде, как на озаренном чистом глазу самой земли, проплывает, сияя всеми красками в своем брачном наряде, селезень, Силыч тихонько выставляет сквозь дырочку в шалаше на этого селезня ствол своей «Крынки»...

Что это за «Крынка»?

А это редкостное ружье, в давнишние времена переделанное в охотничье из военного кремневого ружья крымской кампании. Таких ружей осталось теперь очень мало, но у кого оно есть, тот всех уверяет, что никакое ружье на свете не может так сильно и громко ударить, как «Крынка».

В нашей округе такое ружье сохранилось только одно, звук его всем известен, и когда вечерней зарей раздастся такой выстрел, все в своих шалашах обрадуются и скажут:

— Это Силыч ляпнул из «Крынки»!

Вот сейчас мы скажем о самом большом горе Силыча. Бывает, Силыч и порошу подсыпал на полку, и просунул длинное дуло в щелку шалаша, и вон он, селезень, разноцветный, выплывает на озаренную воду. Остается только нажать на гашетку. И вдруг вся цветущая жизнь исчезает, все обращается в глазах в крошечную тьму.

Вот этого и боится одного Силыч, и это бедствие неотвратимое называется куриной слепотой.

Не всякий раз, однако, это бывает, и не всегда беда приходится к тому мгновению, когда целишься.

Нельзя, однако, сказать, чтобы и на куриную слепоту в широкой душе Силыча не находилось бы утешительной защиты: куриная слепота приходит на короткое время, откроются глаза – приплывет другой селезень. А что тот селезень жив остался и даже весело потоптал его Маруську, то ведь, как раздумаешь, и то не беда.

Маруське тоже ведь надо отдохнуть от вечного обмана в пользу хозяина. Да и стара уже становится, ей теперь уже пошел восемнадцатый год, ей тоже надо оставить Силычу наследницу свою от дикого селезня.

Помаленьку, не торопясь, Силыч натаскал себе жердей, лапнику, сена и устроил шалаш. После того он достал себе хороший долгий кол, с одного конца затесал его, чтобы легко воткнуть в дно, а к другому прибил гвоздем привезенный из дому деревянный кружок. С этим маленьким круглым столиком, прибитым к длинному столбу, старик в высоких сапогах прошел по разливу на расстояние близкого выстрела, тут вбил он кол в дно так, что круглый столик пришелся как раз к самому зеркалу воды.

Все время, пока Силыч возился с устройством деревянного круга на воде для своей круговой утки, возле шалаша на ялике из открытой корзины за ним неотрывно следила Маруська своим маленьким круглым агатовым глазом. За семнадцать лет жизни с Силычем она отлично научилась понимать черед всех его действий на охоте. И теперь она ждала завершающий все позыв старика, приглашение занять сухое место на круглом столике.

Закончив работу, Силыч позвал ее тем голосом, как шваркает селезень, и Маруська безо всякого промедления стала на крыло и села на столик.

Никогда в обычное время Силыч не подрезает крылья своей подсадной утке и не связывает их, даже и корзину ее не накрывает: она у него совершенно свободна.

Единственно только теперь самой ранней весной, когда вся дикая утка с юга тронулась на север на места гнездований, Силыч опасается, не умахнула бы от него его Маруська, осторожно и вежливо вытягивает из-под нее утиную ее ногу и обносит ее круглым ремешком, нагавкой, к этой нагавке привязывает бечеву и конец бечевки привязывает к колу под водой. Утка, если захочет, может плавать кругом на длину бечевы, может отдыхать на кругу, а улететь ей не дает привязанная к ноге бечевка.

Тоже так и братки Павел и Петр устроились на своем месте в одном шалаше. Зрячий Петр глядел в дырочку на подсадную утку, а слепой Павел слушал, и когда что-нибудь слышал, то быстро и тихонько толкал Петра под локоток.

Вот какой слух был у Павла, что полет и шварканье селезня он слышал раньше подсадной утки!

Получив толчок под локоть, Петр приготовлялся и глядел на утку в ожидании, когда у нее начнет открываться клюв для крика. После того он ждал в воздухе приближение селезня.

Если же селезень, услышав позывные утки, где-нибудь невидимо для Петра садился на воду, Павел всей ладонью трогал Петра по спине, и это значило, что он услышал всплеск воды, когда селезень где-нибудь неподалеку садился.

Мало того! Слепой слышал самое подплывание селезня, слышал, как утка почесывается, если селезня почему-то долго все нет.

Вот почему и выходила охота двух человек, соединенных в одном, много лучше, чем охота двух даже отличных охотников, но разделенных друг от друга отдельными маленькими желаниями. Вот отчего Петр и Павел всегда были правдивы: у них было все вместе, у них не было отдельных желаний.

Точно так же, как все, устроив на круг свою подсадную утку, сидел тоже и Журавль. Шалаш его был совсем недалеко от того места, где когда-то стояла его мазанка, где он пытался свою охоту за утками, дупелями, тетеревами устроить как дело жизни. Что только он ни перенес от жены, кто только ни посмеялся над ним за эту попытку жить не тем, что установлено испокон веку для человека, а тем, чего только себе самому хочется!

Плохо было, главное, что ничему он, по правде, в этом опыте не научился. Дичи и рыбы для жизни было довольно. Уменья достать пищу на воде и в лесу ему хватало. Так почему же все-таки получилось, что жить одной любовью к своему делу нельзя?

Почему нельзя хорошему охотнику в богатейших дичью местах жить с любимой женой?

Этот вопрос оставался Журавлю нерешенным и оттого, что благородный охотник не хотел всю беду свалить на жену.

Нерешенный вопрос всего дела жизни создавал в душе Журавля, как у всякого человека, особую встревоженность на охоте, и это, как у всякого утиного охотника, передавалось и утке.

Такая нервная утка кричит не только селезню, но даже и всякой вороне: была бы тень – на воде и слышался бы в воздухе свист и шелест крыла. Летят же на вечерке, конечно, больше вороны и галки, чем селезни, и оттого и утка без перерыву кричит, и от каждой вороны охотнику приходится вздрагивать.

Зато у чулочника утка была такая спокойная, что хоть сюда в шалаш чулочную машину поставь. Закричит – и смело хватайся за ружье: подплывает селезень, замолчит – садись, и хоть машину сюда: и вяжи и вяжи длинный чулок.

Но это, конечно, только к слову пришлось, а на деле чулочник все на свете сейчас забыл, и ничего ему больше на свете не надо, как только бы на небе или на воде где-нибудь тихонько бы шваркнул селезень и на шварканье взметнулась бы утка и на всю округу по-своему заахала: – Ах! Ах! Ах!

Глава шестнадцатая

Многим непонятно, как это можно любить природу и всей душой сосредотачиваться на убийстве животных. Для многих совсем непереносимо, как это охотники-любители, поэты в душе, могут на поющую во мраке ночи птицу в брачном наряде наводить ружье и потом друг перед другом хвалиться тем, что он больше всех убил и даже набил.

Со стороны, и правда, это совсем невозможно понять, но по себе мы должны разобраться и в природе охотника-поэта. Мы так понимаем, что каждый страстный охотник является обладателем огромного и многим вовсе неведомого чувства природы. Прямо же тут, близко за околицей, для него начинается волшебный мир. Душа его, как у пьяного, куда-то летит в переменах, ему, как пьяному, хочется за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Как и пьяный, он ищет друга, чтобы ему все сказать. Ему нужен трофей – доказать, что мир чудес существует и начинается совсем близко, прямо же тут, за околицей.

Настоящий поэт свое видение чудесного мира, его истинную правду утверждает стройным хором звуков. В этот хор вступают друзья поэта, и правда поэта между людьми утверждается: за околицей мир чудес существует. А сколько раз, бывало, в какую-нибудь деревеньку приходит дикий поэт, охотник, с глухарем в руках, и вся деревня собирается вокруг охотника, вся деревня удивляется, и тут между ребятами утверждается новая правда: за околицей начинается действительно мир чудес.

Так было на веках, с этого началось: само же страстное чувство природы требует поймать бегущего зверя, метким выстрелом остановить летящую птицу. И после самому своей собственной рукой поднять, подержать...

На этом для самого дикого поэта страсть кончается и остается еще тоже очень большое наслаждение: показать свой трофей близкому человеку, убедить его, удивить: такой чудесный мир у нас так близко, прямо же тут, за околицей.

– Друг мой! – говорит он, – пойдем со мной, я тебе все покажу, вот бери мое ружье.

На эти слова другой кто-нибудь и ответит:

– Милый друг! мне ружья не надо, я без ружья верю тебе: мир чудес существует, и прямо тут же, у нас за околицей, чудеса начинаются.

Так, может быть, с древних времен что-нибудь одно ладно складывалось с другим, в природе и в жизни человека, и сама собой из этого выходила народная сказочка или песенка свадебная или похоронная. И вот кто-нибудь когда-нибудь понял поэзию как закон природы.

– А что, если, – сказал он, – я и сам так ладно сложу, как оно складывается?

Так он попробовал, сложил и запел. И так создался на свете настоящий поэт. Было тоже так и с Мануйлой. Он с малолетства был промысловым охотником, для него поймать зверя или остановить полет птицы было постоянным занятием, но с охотниками-любителями он сходился, как он думал сам, из-за дружбы, и они держались его из-за его понимания всего, что делается к природе. Ему нужно было только след увидеть, чтобы без всяких собак выставить зверя на охотника. Самое же главное, что после всего Мануйло рассказывал, и слова его лучше, чем все трофеи охотников, всех убеждали в том, что мир чудес начинается прямо тут же у нас, за околицей.

Так у Мануйлы складывалось, что для охоты ему уже не надо было ни ружья, ни подсадной утки и собаки, да, пожалуй, и совсем без охотничьих угодий он мог бы оставаться с одной «правдой» охоты в душе, как он сам называл свои сказки.

И в этот раз он совсем не рассчитывал на утиную охоту и нарочно поставил свой шалаш на самом верху Выгора, чтобы отсюда лучше видеть движение птиц на вечерке, а так же побережься тут на высоте от внезапной весенней воды: до сих пор еще никогда весенняя вода не затопляла Выгор доверху.

Как часто мы говорим между собой: «Ну, скажите по правде». Или тоже и так: «По правде говоря...» И так часто мы говорим, ссылаясь на правду, что со стороны можно подумать, будто вообще-то мы друг от друга всегда что-то скрываем. И так чувствует себя и ведет себя каждый.

Но Мануйло так понимал, что в природе все, что там есть, на правде стоит, и он, рассказывая, как бы черпает воду глубоким ведром и вытаскивает ее со дна из глубины на свет.

Как хороши эти еще не сказанные слова о всяком животном, какое только полюбит, о каждом цветке, дереве, птице, если только в них поместил частицу себя самого. Тогда какая-то утка, или береза, или этот Выгор на присухонской низине оживают по-человечески во всем единстве природы.

С высоты своего шалаша Мануйло спокойно мог наблюдать всех охотников и всех пролетающих птиц. Постепенно входя в тишину, он озарился, и начались для него чудеса.

Летела парочка: впереди серая утка кряква, за ней селезень в своем чудесном брачном наряде. Вдруг навстречу им откуда-то вывернулась другая пара. И только бы обоим парам встретиться и разлететься: одной паре в хвою сторону, другой – в другую, вдруг ястреб кинулся на утку из второй пары, и все смешалось.

Сердце оторвалось у охотника без ружья, но, к счастью, ястреб в этот раз промахнулся.

Тронутая когтями ястреба испуганная утка бросилась прямо вниз и на пойме скрылась в кустах.

Ястреб, ошеломленный неудачей, и какой – из четырех уток он не взял ни одной! – ястреб медленно подплыл под синюю тучу.

Селезень из разбитой пары, придя в себя, стал искать свою утицу и сделал небольшой круг. Нигде пары его не было, и только далеко впереди первая пара продолжала свой путь.

И вдруг одинокий селезень стал на длинное крыло и, вытянув и так-то длинную шею, стрелой пустился догонять ту пару.

Тут замороженный зарею Мануйло не выдержал.

– Ты понимаешь, Митраша – сказал он, – зачем он так пустился?

– Не понимаю, – ответил Митраша.

А вот я тебе скажу: он подумал, что какой-то другой селезень подхватил его утку, и теперь они вместе от него удирают. Вот он теперь и помчался.

Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать.

– Это она зовет своего потерянного селезня? – = спросил Митраша.

– Может быть, своего, – ответил Мануйло, – а может быть, и другого – у них время скорое, потужила и будет.

Вдруг показался на желтой заре новый одинокий дикий селезень и услышал два разных голоса: звала его и та дикая утка, потерявшая своего селезня, и подсадная утка охотника Журавля.

Между двумя утками, дикой и подсадной, завязалась борьба голосами. Утка Журавля разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила, Селезень выбрал дикую и потоптал.

– Летят, летят, – сказал Мануйло.

– Где, где? – шепнул Митраша.

И сам увидал.

Совершив огромный круг, возвращалась первая пара, и за ней мчался тот селезень первый, потерявший из-за ястреба свою пару. Он, видимо, как это и у людей постоянно бывает, мчался за воображаемой уткой, принимая ее за свою, украденную чужим селезнем.

Его же настоящая утка, довольная, очищала сейчас на плесе перышки, смазывала их жиром, и молчала, молчала...

Зато подсадная утка охотника Журавля, теперь одна, без соперниц, взялась достигать дикого селезня.

И он услышал ее и оставил воображаемую утку.

– А ты говорил, – сказал Митраша, – он мчался за своей. Как же так?

– Очень просто, – ответил Мануйло, – у них время скорое: по-ихнему, время прошло, и догонишь ли еще ту, да и хватит ли силы отбить, а тут вон орет, разрывается.

Селезень так стремительно бросился к подсадной утке, что Журавль не успел выстрелить, и он потоптал. После того счастливый селезень стал делать свой обычный селезневый благодарственный круг. Журавль мог бы спокойно целиться, но ему вспомнилась его горячая молодость, когда он так полюбил свою девушку, что хотел присвоить себе всю природу и утвердил среди поймы свою мазанку. Весь мир на этой пойме ему явился, как возлюбленная.

Так, вспомнив себя, охотник не стал стрелять дикого селезня, и он улетел.

– Почему же он его не стрелял? – спросил Митраша.

Мануйло ответил:

– Это бывает.

Митраша почти рассердился.

– Как так – бывает?

– Очень просто, – ответил спокойно Мануйло, – намаялся охотник за день и уснул.

Глава семнадцатая

Еще светила лимонно-желтая заря, еще можно было хорошему стрелку схватить тень пролетающей крупной птицы, но маленьких ночных птиц уже не было видно, и слышались

только их голоса. Ученые люди, конечно, знают и понимают все голоса на болоте. Но простые охотники всего за всю жизнь свою не узнают, и для каждого, самого даже хорошего, остаются такие голоса, что в темноте слышишь каждую весну и знаешь голос хорошо, а какой он сам, кто прокричал, не знаешь и не можешь сказать.

Вот когда пришло время к вечеру и маленькую птицу стало не видно, Митраша услышал этот голос. Знакомый голос неизвестного существа, может быть, даже и не птицы, похож был на то, как если бы маленький конек-горбунок, летая по твердому воздуху, без перерыву стучал звонко и часто своими крошечными копытцами.

В свое время Митраша спрашивал отца своего, но тот тогда вслушался и стал дожидаться, когда оно повторится, а оно не повторилось тогда, и вот теперь явственно слышалось: конек скакал и стучал копытцами.

Услыхав теперь, Митраша толкнул Мануйлу и тихонько спросил:

– Это кто?

Как и отец тогда, Мануйло повернул лицо в ту сторону и стал дожидаться. Скоро конек опять застучал, и Митраша опять тронул Мануйлу и сказал тихонько:

– Вот!

Опять Мануйло молча проводил таинственный звук, и опять неведомая птица сделала круг и вернулась.

– Вот слышишь теперь? – опять тронул Митраша.

– Слышу! – ответил Мануйло.

Митраша это «слышу» так понял, будто Мануйло прямо так-таки и сказал:

– Слышать-то, мальчик, слышу, да не знаю, нужно ли нам это знать, мало ли на свете есть такого, что лучше нам о нем с тобой и вовсе не знать.

Вечерело все больше и больше. То и дело проносились спаренные утки. А подсадные до того насиделись дома за зиму в ожидании весны, что орали даже и спаренным селезням. Холостые же селезни, как только появлялись, так, услышав голос той или другой подсадной, сразу поддавались обману и попадали в руки охотника.

Но один селезень не поддавался обману, скорей всего, понял такой обман еще прошлой весной. Каждую весну везде бывает непременно один такой селезень – мучитель охотников – и почему-то называется у них «профессором».

Уже совсем стемнело, и едва-едва только на фоне воды можно было навести мушку. У всех охотников, кроме Силыча, было довольно настроено, но бедному старику в этот раз все не везло: то, было раз, кремень старинного ружья подвел, то сам поскользнулся и пошумел, то, как водится, нечистый помешал...

Все утки орали и орали, стараясь завлечь «профессора», но старый опытный «профессор» кружился и не обращал на голоса никакого внимания.

Все утки кричали в одно:

– Ах-ах-ах!

Но Маруська вдруг почему-то крикнула по-своему:

– Ха-ха-ха!

Такой голос понравился «профессору», он опустил вниз шею-стрелу, скосил-согнул крылья и, упав на воду, так шукнул, что даже и Силыч услышал и приготовился.

А уж как Маруська-то надрывалась! Нам даже со стороны казалось, что вроде как бы ястреб налетел: все утки вдруг, услышав, наверно, эти необыкновенные позывные Маруськи, на мгновение примолкли, и слышалось одно Маруськино:

– Ха-ха-ха!

Какие-то разные пруттики, в темноте и не поймешь, закрывали «профессора» от Силыча, и старик уже начинал думать, не подшумел ли уж он «профессора», или, может быть, «профес-

сор» и сам разгадал предательство Маруськи, затаился и так будет ждать, а там полная темнота наступит, не разглядишь даже и на воде.

Заря совсем, совсем доцветала.

И вдруг тут совсем рядом послышалось со стороны «профессора»:

– Шварк!

От последней зари зеркальце стало желтеньким и на желтом прямо весь и выкатил черный, как вырезанный, «профессор».

Силычу было, как будто он все свои старые годы, со всеми болезнями, битком забил пыжами в свою огромную «Крынку» и нажал гашетку – и старые годы разом все вылетели.

Тогда в тишине вечерней зари не только мы тут все охотники на присухонской низине, но и там поняли, далеко на лесной бирже, на реке Леже, и каждый сказал:

– Вот это так, это Силыч ляпнул из «Крынки»!

Так пришло счастье, и по нашим охотничьим правилам в таком случае непременно надо сплюнуть на левое плечо. Так мы к этому привыкли, что некоторые даже перенесли на погоду: что как только заиграет небывало прекрасный денек, так не очень-то показывать радость, а лучше удержаться, а что лишнее накопело в душе, взять тут же и сплюнуть через левое плечо.

А сколько накопело всего лишнего от радости у Силыча! Вот он скорей всего тут и не сплюнул...

Когда рассеялся дым, Силыч ясно видел еще, что селезень-«профессор» плоским темным пятном неподвижно лежал на лимонно-желтой воде между двумя черными кочками. Вовсе не чувствуя лет своих, резвым юношей выскочил он из шалаша, вошел в воду и тут-то вдруг мгновенно, как самая темная ночь, охватила его всего куриная слепота.

Тут надо сказать, что не всякая слепота одинакова. Бывает, слепой, как и все слепые, наружу ничего не видит, а сам в себе с закрытыми глазами видит чудесные картины, написанные то огненными, то водяными знаками. А вот эта куриная слепота, как она бывала у Силыча, ничего и там внутри человеку не оставляла. Да и не мудрено, что темнота у Силыча застелила не только селезня между черными кочками, но и весь его внутренний мир.

Ведь эта темнота застала его, охотника, на том самом месте, когда все долгие ожидания весны, все бесчисленные порывы, устремления, попытки сошлись в единый момент исполнения всех желаний: прекрасное мгновенье остановилось.

Мало того! это действительно было так, что болезни свои Силыч забил в стволы, и они все вылетели. Теперь ему, как всякому охотнику, оставалось только взять то самое, чего он добивался...

Удивительно в охоте это мгновенье, когда охотнику остается только пойти и взять убитую дичь. Пожалуй, можно даже сказать, что взять и подержать немного в руке убитую дичь и взглянуть на нее глубоким глазом, перед тем, как опустить ее в сумку, есть самый важный, самый глубокий момент охоты. Опустив дичь в сумку, охотник вроде как бы с чем-то простился, расстался...

Некоторые охотники даже любят поскорей кому-нибудь свою дичь подарить, другие хвалятся, что они, как охотничьи собаки, дичь свою не едят.

Взять свою дичь, пожалуй, действительно самый важный момент, и это видно особенно, когда почему-нибудь нельзя бывает взять убитую дичь: в темноте подстрел убежит, нырнет и затаится под листом утка, с горы свалится козел в недоступную глубину. Да, это хуже всего, когда убитую дичь взять нельзя.

Так это и случилось с Силычем. Конечно, внезапная слепота не остановила его движения к убитому селезню: ведь он же увидел его, и, казалось, идет теперь прямо в том направлении. Но только он ошибался, он шел не туда, а вода становилась ему все глубже и глубже.

Хорошо еще было, что Мануйло с горы все видел и понял сразу куриную слепоту: старик шел водой в одну сторону, а селезень оставался в другой.

Мануйло бросился бежать с горы и остановил старика в то время, когда вода начала уже заливать к нему в сапоги. Он вывел его на берег, а Митраша принес и отдал ему селезня.

Хорошо, что это бывало уже не раз и ничуть не расстроило Силыча: пусть темнота, но селезня он держит в своих руках! И еще он знал хорошо, – через какой-нибудь час прямо сном уйдет его слепота и он успеет даже в эту ночь попасть на глухариный ток.

Устраиваясь в шалаше на сон грядущий, он сказал:

– Доплечусь как-нибудь и на Красные Гривы.

И, поблагодарив Мануйлу, уснул.

Часть шестая

Красные гривы

Глава восемнадцатая

В самом начале половодья у охотников есть еще время вздремнуть между вечерней зарей, когда на воде уже и утку не видно, и до утренней, когда еще в полной темноте запевает глухарь.

Решено было идти на Красные Гривы, на большой глухариный ток, а перед этим несколько часов хорошенько поспать.

Любоваться и отдыхать душой можно было каждому, глядя, как Мануйло укладывал в шалаше детей своего друга. Не у каждого из нас был отец таким товарищем, как сделался Мануйло этим совершенно чужим ему детям.

Или бывают люди – всем детям отцы?

Мы знаем, как собаки открывают невидимую им дичь в траве, и мы эту способность называем чутьем. Но как назвать у людей подобную способность угадывать в душе другого человека самое главное, самое для него нужное?

Называют эту способность вниманьем, но как-то в этом чудесном слове не хватает немного чего-то, чтобы выразить самое дорогое, самое великое. Разве сказать – любовь? И тоже: назовут, а вслед за словом спрашивают – а что такое любовь?

Скорее всего, люди еще не дошли до того, чтобы словом называть то самое дорогое, самое великое, чем, может быть, еще и держатся на свете.

А чтобы не ошибаться и попусту не тратить дорогие слова, называют, как и собачью способность узнавать о невидимом, тоже чутьем, и людей таких, самых хороших, называют чуткими.

У нас в прошлом был такой чудесный дедушка, великий охотник и горячий друг всем ребятам. Однажды вышло так, что час решающий в природе, охотничий час, как раз совпал с часом, решающим в школе: подошли экзамены.

Тут Миша и выкинул свою самую скверную штуку: он, никому не сказав, потихоньку, от экзаменов ушел из города к дедушке. Старик, увидав внука, очень обрадовался и, ни о чем не спросив, увел его на охоту в леса и на озера.

Недели две они так счастливо жили.

А в школе внимание тоже направлено было целиком в большое дело экзаменов. А что Миши нет, так думали, он к родителям ушел и отрезан половодьем. И родители думали – он в городе отрезан от них полой водой. После сколько беды из-за дедушки вышло, и из-за того только, что он, любя детей и охоту, не обращал своего внимания на то, что Миша есть Миша, а не какой-нибудь Саша.

Такой был и Мануйло: всем детям товарищ и друг, сто раз отец, но только не родной – заботливый; при всей его радости жизни и даже внимании к детям, любви, может быть, не хватало такой чуткости родного отца, чтобы сразу понять и схватиться за то самое главное, из-за чего они и явились на свет.

Об этом на охоте он даже почти что забыл...

Когда все улеглись и хорошо согрелись под сеном перед сном, захотелось поговорить, и Митраша спросил:

– А что это – Красные Гривы?

Мануйло повел свою речь о Красных Гривах издалека.

– Бывает, – сказал он, – идешь, идешь по темному лесу с утра до ночи, переночуешь, и опять идешь, и опять переночуешь, и опять все идешь и идешь...

Вот какие наши леса!

Дня три так пройдешь в долгомошниках и в борах, и ничего даже не увидишь, не услышишь: ни глухаря, ни чухаря, ни рябца.

Ты не бывал в таких лесах, ты спросишь: а где же вся птица?

И я тебе отвечаю: все глухари улетели на ток, на большой ток в Красных Гривах.

Вот какой ток на Красных Гривах, там птицы хватало на всех охотников.

С вечера глухари прилетают с разных сторон. Красные Гривы большие, глухари собираются кучками в разных местах, там больше, там меньше.

Каждый глухариный охотник еще по весеннему снегу, по насту на лыжах выходит искать себе ток.

Каждое утро поет глухарь, и каждое утро свет прибывает, и глухарина песня становится все дольше. Каждое утро шея у глухаря больше раздувается.

Время придет – и глухарь шею себе наиграет, а в шее-то у него вся певчая сила. Когда шею себе глухарь наиграет, он с тока не улетает, а падает на снег с дерева и уходит по снегу, оставляя следы.

Охотник идёт на лыжах до следа и по следу в пяту, приходит к тому самому дереву, где утром глухарь пел.

Охотник приходит по следу прямо на певчий помет.

– Спите, ребята?

– Ну, вот еще! – ответил Митраша.

– Хотите спать, или еще поманить?

– Мани, мани, – Мануйло! – сказал Митраша.

– А где спят глухари? – спросила Настя.

– Умница! – сказал Мануйло. – Спят они диковинно.

Вечером, еще засветло, они прилетают на ток и рассаживаются по деревьям.

Случалось, вечером налетят раньше времени и застанут тебя на свету. Что делать?

Прижмешься к дереву, а они прямо у тебя над головой рассядутся. Что тут делать?

– А если тихонько уйти? – спросила Настя...

– Нельзя, красавица, нельзя даже и кашлянуть: весь ток разлетится!

– Что же делать? – спросил Митраша.

– А только стоять, – ответил Мануйло, – стоять и дожидаться, пока не уснут.

– Как же это узнать?

– Слушать надо. Стоишь и ждешь, и становится в лесу все слышней и слышней. Капелька капала с дерева на лужу, а то начала стучать. Вот когда со всех сторон капли стали по лужам стучать, начинают похрапывать и глухари.

– Ну, это сказки! – отрезал Митраша.

– Сам раньше не верил себе, а после понял: храпят, просто, как люди храпят. Спят они головой в перья и дышат. Воздух играет перышками, и оттого кажется нам, будто птица храпит. После глухарей я дома кур стал слушать, и куры, бывает, тоже храпят, все птицы спят и во сне храпят.

Вот когда услышишь, там и тут, и подальше, пока слуха хватит, спят глухари, храпят, – сам тихонечко начнешь отходить от своего дерева, чтобы их не разбудить! на пятках идешь больше, и так пятюгать, пятюгать, пока их будет не слышно. Да так и уйдешь, и переночуешь у своего огонька.

– Спите, ребята! – остановился Мануйло.

Митраша и Настя вместе в один голос сказали:

– Мани, мани, Мануйло.

– А дальше и ничего, – ответил Мануйло, – вы это знаете, как подходят к глухарю под песню.

- Да, – сказал Митраша, – глухари поют везде одинаково.
- Конечно, – ответил Мануйло, – пока одинаково, а как вот, у вас утки: то же самое – черные, белые, пестрые?
- Те же утки, – ответил Митраша, – только у нас не так много.
- И селезни так же шваркают?
- Как и у вас, шваркают.
- И крякуши подзывают?
- Крякают.
- А можешь ты, как чухарь, чуфыкнуть?
- Могу чуфыкнуть, и бормотать могу, и тетеркой квохтать.
- И ухать можешь, как бык водяной?
- Еще бы!
- И волков подзывать?
- Конечно, могу: завою, и мне откликнутся все, и я их сосчитаю, я даже одного сам убил, и волк был страшный, его у нас звали Серым помещиком.
- Кто же тебя всему научил?
- Да я же тебе говорил: мой отец был лесником.
- Да, помню, – ответил Мануйло, – он где-то у тебя пропадает за Пинегой. У меня отец был тоже полесником. А твой дедушка кто?
- Дедушка мой, Антипыч, был тоже лесником и, говорят, он знал правду истинную.
- Что ты говоришь!
- Не я говорю, а люди говорят, и будто бы он, когда умирал, то правду истинную перешептал собаке своей Травке, и эта собака Травка потом вытащила меня из болота.
- Это бывает, – ответил Мануйло, – собака – это истинный друг человека.

Тут Мануйло ясно вспомнил свой разговор в лазарете с другом своим о правде и, вспоминая, непременно бы скоро догадался подумать и спросить себя: не он ли и был тем самым отцом, кого теперь ищут ребята. И что бы тогда это было!

Митраша мыслью своей ходил кругом около самого главного, а Настя умным сердцем своим почуяла что-то в Мануйле такое хорошее, будто он им был тоже отец, только не свой родной, а какой-то общий: всем детям отец.

Мануйло всегда засыпал так, что пережитое за последнее время располагалось как бы пирогами на вертящемся тихо круглом столе. Подойдет это что-то к нему, еще неясная, неконченная мысль пирогом, и он ткнет пальцем в пирог и говорит:

– Катись дальше, ты еще не поспел!

И стол, медленно двигаясь, уносит этот и подкатывает другой.

И так это было всегда: Мануйло не заставлял себя через меру убиваться над думой и каждую новую мысль отводил от себя, как отводит сеятель заботу о зерне, когда оно бывает брошено в землю.

Подкатил сейчас к нему на столе и тот пирог с правдой, как он был начат когда-то в лазарете.

– Пospel! – хотел крикнуть Мануйло.

Но стол вдруг перестал вертеться, и Мануйло уснул.

Вот так точно и вы, и я, и ты, мой друг дорогой, и все люди на всем свете живут с далекой правдой в глубине души. Бывает постоянно, что близенько она возле тебя, стоит только бы руку протянуть, и человек был бы спасен.

Мануйло сейчас был так близок к правде, что еще бы одно мгновение, и он соединил бы в себе отца с детьми, он уже хотел спросить даже Митрашу о том, как звали его отца, и тут сразу бы открылся путь к нему, и сам бы он непременно отвез их туда в Корабельную Чашу за Пинегой возле Мезени.

Есть у каждого в жизни такое одно мгновение, и его надо схватить, когда оно близко проходит. И когда упустишь его и поймешь, то в горе хочется на все махнуть рукой и жить как придется... Один только свет остается, одна надежда на то, что чудесное мгновение когда-нибудь снова вернется и еще больше и лучше будет: каждый на каждого будет глядеть и догадываться о самом его главном, о том, что у самого сердца лежит.

Глава девятнадцатая

Время такое, когда бывает на дню сто перемен. Так было и на присухонской низине. Днем казалось – вот-вот все оборвется, и пойдет большая вода: все болотные кочки уже потонули в воде, и так держалась вода все прибывая до тех пор, пока не кончилась вечерка, не погасла лимонная заря, не уснули все перед глухариной охотой. Засыпая, все рассчитывали через какие-нибудь два-три часа плыть водой на Красные Гривы.

Когда уснули охотники, вдруг на небо вышел месяц, а на земле откуда-то взялся мороз, и скоро заковал всю пойму. Да и как еще заковал! ступи человек – и не провалится.

Простые люди думают – это приходит весной уже не сам мороз, а его внук. Сам могучий дед Мороз теперь уже кончился, пришел его слабенький внук. Будь это настоящий мороз, так бы этой перемене и остаться. Но вдруг среди ночи опять все переменялось: ветер потянул с юго-запада, небо закрылось, повалил снег крупными хлопьями, в один час вся пойма стала, как одна широкая белая скатерть.

Такая неожиданная пороша обманула даже нашего старика Силыча. Он вышел из шалаша, оглянулся вокруг себя, ногой твердо на лед наступил и поверил.

– Ему это было на руку: тихонько идти до самого тока, чем мучиться с яликом между кочками в темноте.

Обрадованный морозом, он весело сказал:

– За дедом внук пришел!

Кругом почесался, что-то на себе подтянул, где-то привязал, что-то пхнул в карман, застегнулся, подпоясался, надел на себя «Крынку» и степенно по льду между кочками зашагал на глухариный ток Красные Гривы.

После Силыча проснулись и наши первые в Вологде глухариные охотники братки и тоже, как старик, были обмануты морозом. Очень уж выходило соблазнительно: чем пробиваться водой на ялике, а в лесу все равно ялик бросать, куда лучше прямо из шалаша идти пешком по морозцу на Красные Гривы.

И, собравшись, подумав – чего бы не забыть, слепой и глухой, два лучших охотника на глухарей, с одним-единственным ружьем на двух, как на одного, зашагали.

Рука слепого была за кожаным поясом у глухого, и чуть что, слепой Павел тянул за пояс глухого Петра и его одерживал.

– Чего ты? – тихо спрашивал зоркий Петр, устремляя глаза свои в темную даль.

– Звенит! – отвечал Павел.

И так они ждали, один ушами, другой глазами.

Так бывает, и это скорей всего лось переходил пойму, и под ногами его звенели, разлетаясь в стороны тонкие льдинки. Потом, когда лось, одолев пойму, перебрался в лес и там затих, Павел говорил:

– Пойдем, больше ничего я не слышу.

Тут опять слепой крепко ухватился за пояс глухого. – И так они шли.

Может быть, на всем севере нет охотника лучше Мануйлы, но в этот раз и его обманула погода, как маленького: он то же самое поверил: мороз продержится, и можно будет по морозу пройти на ток в лес и вернуться в свой шалаш на Выгоре.

Как ни подумать бы такому опытному охотнику о том, что вода на носу, и вся держава лесная может в какой-нибудь час оборваться и к утру вся пойма сделаться морем!

В этом разбираясь, так надо понимать, что идет такой смельчак до последнего часу по закону и верит в закон, а если выйдет какое-нибудь случайное беззаконие не от себя, так чего же бояться случая: все мы видели, русские люди, где наша не пропадала!

Мануйло без часов знал часы, как петух. Тронув Митрашу, он шепнул ему:

– Сам подымайся, а девочку не буди, пусть ее спит.

– Это не такая девочка, – ответил Митраша, – ее не удержишь. Настя, подымайся на глухарей!

– Пойдемте! – ответила Настя, вставая.

И все трое вышли из шалаша.

Хорошо пахнет болото первой весенней водой, но не хуже пахнет на нем и последний снег. Есть великая сила радости в аромате такого снега, и эта радость в темноте понесла детей в неведомые уголья, куда слетаются необыкновенные птицы, как души северных лесов.

Но у Мануйлы в этом ночном походе была своя особенная забота. Вернувшись недавно из Москвы, на ходу он от кого-то слышал, будто Красные Гривы этой зимой пошли под топор. Кто это сказал, где было сказано? Теперь вспоминал Мануйло и не мог вспомнить, и начал уже подумывать, не обманулся ли он, не во сне ли ему это почудилось.

Так дети шли в темноте, доверяясь ногам, слушаясь ног, как днем слушаешься глаз. И по-другому стали чувствовать землю: тут был еще глубокий снег, сейчас скованный настом. По насту они пошли, как по скатерти, и даже еще лучше: наст не проваливался, но как бы чуть-чуть пружинил, и оттого выходило идти веселей.

Вспомнив на такой дороге о порубке глухариного тока Красные Гривы, Мануйло решительно сказал:

– Набрехали!

Только это сказал – нога донесла ему о чем-то совсем другом, чем пружинистый наст.

Перещупав свой путь ногами в разные стороны, Мануйло скоро понял, что у него под ногой была засыпанная порошей ледянка: дорога ледяная, устроенная в зимнее время для вывоза круглого леса на берег реки.

– Плохо наше дело! – сказал он.

– Митраша спросил, отчего дело плохо.

Мануйло указал Митраше ледянку.

Помолчав, он сказал печально:

– Простимся, детки, с Красными Гривами!

Митраша понял, что Красные Гривы с глухариным током этой зимой срублены и окатаны на сплав к берегам.

– Назад? – спросил он.

– Зачем назад? – ответил Мануйло, – ток недалеко отсюда, пойдем поглядим, о чем думают теперь глухари.

Силыч стороной шагнул на ток и на ледянку не вышел. Он знал такой прямой путь на ток, что каждый год выходил прямо на песню и теперь ощупью все шел, шел, и, наконец, вроде как-бы что-то ему почудилось, он остановился.

В лесу было очень темно.

А он знал – темнее всего бывает перед рассветом.

Вокруг не было ни одного высокого дерева, кругом кусты, подлесок, а самого леса не было вовсе.

Но мало ли чего ночью в лесу ни почудится. Поняв чутьем сейчас самое темное время, Силыч стал слушать и ждать...

Так и братки тоже в темноте, угадав место тока, затаились.

В это самое время как раз и подкрадывался к людям тот час, когда начинается и как бы бросается дружная весна всей водой на дело человека.

В это самое время как раз и подходит тот страстно ожидаемый охотниками час, тот крылатый час в природе, когда спящая красавица пробуждается и говорит: «Ах, как долго я спала!»

Началось это где-то на каком-то дереве, на какой-то очень тоненькой веточке, по-зимнему голой. Там от сырости скопились две капли – одна повыше, другая пониже.

Наращивая на себя сырость, одна капля отяжелела и покатилась к другой.

Так, одна капля догнала на ветке другую, и, соединенные, отяжелев, две капли упали.

С этого и началась весна воды.

Падая, тяжелая капля о что-то тихонечко тукнула, и получился от этого в лесу особенный звук, похожий на: «Тэк!»

И это как раз был тот самый звук, когда глухарь, начиная свою песню, по-своему совершенно так же «тэкает».

Никакой охотник на том расстоянии, как это было, не мог бы расслышать этот звук первой капли весны.

Но слепой Павел отчетливо услышал и принял ее за первое шелканье глухаря в темноте.

Он дернул Петра за пояс.

А Петр сейчас в темноте был такой же слепой, как и Павел.

– Ничего не видно! – шепнул он.

– Поет! – ответил Павел, показывая пальцами на место, откуда шел звук.

Петр, усиливаясь в зрении, даже рот немного открыл.

– Не вижу, – повторил он.

В ответ на это Павел зашел вперед, протянул руку к Петру и тихонечко подвинулся. По-настоящему нельзя бы шевелиться, когда слышишь это глухариное капанье, но Павел так привык верить своему слуху, что разрешал себе всегда, если слышал, немного подвинуться.

Так братки и подвинулись.

– Нет, – шепнул Петр, – я не вижу.

– Нет, – ответил Павел, – это не глухарь, это капли с веточек капаят, видишь это?

И опять показал.

Теперь душа охотника была отдана ожиданию глухариного пения, и ему было совсем невдомек, что это вода идет, что им теперь выхода из леса не будет. Его занимало сейчас только одно: среди тэканья капель услышать и понять глухаря.

Вдруг какая-то никому неведомая птичка спросонья не сказать прямо, что запела, а как бывает и с человеком: хочет потянуться, а вроде как бы что-то и скажет. И друг его спросит:

– Ты что говоришь?

– Нет, – отвечает проснувшийся, – я это так...

Наверно, и птичка эта неведомая тоже пикнула что-то спросонья и замолчала.

Но это было все-таки непросто. В эту самую минуту на небе стало, как говорят охотники, лунеть.

И тут глухарь на слух Павла явственно заиграл.

– Поет! – сказал Павел.

И братки, как это делают все, начали скакать: поет глухарь и не слышит, как охотники подбегают к нему на прыжках. Он остановится, и охотники в тот же миг замирают.

Братки скакали под песню глухаря не совсем как мы все скачем в одиночку. Благодаря чуть светлеющему небу кое-что все-таки было и видно, и оттого нельзя удариться лбом о дерево. Видимую светлую лужу мы тоже можем обскákat, но в невидимую мы все равно попадем и с полным зрением и слухом. То же самое, если глубоко попал в болотное тесто, а глухарь в этот миг перестал петь, тут все равно, слепой, глухой или здоровый человек со всем своим счастьем, раз уж попал, то и стой в грязи в ожидании, когда глухарь опять заиграет.

Братки скачут рядом, взявшись за руки, до тех пор, пока зрячий глазами не увидал самого певца. Так всегда и было, что Павел раньше услышит, чем все, а Петр раньше увидит. И это маленькое «раньше всех» решало весь успех у двух людей, соединенных в одно лицо: у них всегда глухарей бывало убито больше, чем у отдельных охотников.

Еще было совсем темно и неразлично, когда братки вдруг перестали скакать и остановились, как пораженные...

То же самое было и с Мануйлой, и Силыч тоже начал и вдруг замер.

Все охотники замерли не оттого, что глухарь петь перестал, и надо было дожидаться, когда он опять запоеет и оглохнет на короткое время, на какие-то пять, шесть скачков человека вперед.